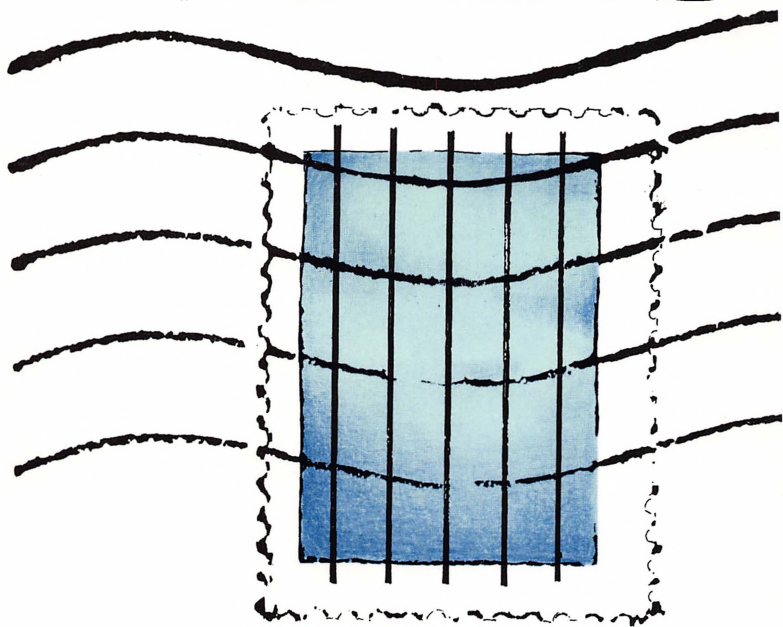


А. МУРЖЕНКО



Образ счастливого  
человека

Письма из лагеря  
свободного режима



## ТЕЛЕГРАММА

МУРЖЕНКО АРЕСТОВАН 4 ИЮНЯ ТЧК ОБВИНЕНИЕ - НАРУШЕНИЕ  
РЕЖИМА НАДЗОРА

*Когда книга печаталась, из Москвы пришло сообщение о новом аресте Алексея Мурженко. Основание для ареста — нарушение режима надзора. Согласно правилам административного надзора в СССР, бывший политзаключенный после отбытия срока заключения не имеет права без специального разрешения выезжать из города, в котором он живет, выходить из своего дома после семи часов вечера, посещать общественные места (рестораны, вокзалы, кино-театры и т. д.), должен еженедельно регистрироваться в милиции.*

*Это — третий арест сорокатрехлетнего А. Мурженко, прошедшего двадцать лет в политических лагерях строгого и особого режима.*





**ОБРАЗ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА,  
ИЛИ  
ПИСЬМА ИЗ ЛАГЕРЯ ОСОБОГО РЕЖИМА**

**ALEKSEI MURZHENKO**

**AN IMAGE OF THE HAPPY MAN  
OR  
LETTERS FROM  
THE STRICT-RÉGIME CAMP**

Edited by Mikhail Heifets  
With a Foreword by Eduard Kuznetsov

**Overseas Publications Interchange Ltd  
London 1985**

**АЛЕКСЕЙ МУРЖЕНКО**

**ОБРАЗ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА,  
ИЛИ  
ПИСЬМА ИЗ ЛАГЕРЯ  
ОСОБОГО РЕЖИМА**

Под редакцией Михаила Хейфеца  
Предисловие Эдуарда Кузнецова

**Overseas Publications Interchange Ltd**  
**London 1985**

**Aleksei Murzhenko: OBRAZ SCHASTLIVOGO CHELOVEKA  
ILI PIS'MA IZ LAGERIA OSOBOGO REZHIMA.**

Edited by Mikhail Heifets

With a Foreword by Eduard Kuznetsov

First Russian edition published in 1985  
by Overseas Publications Interchange Ltd  
8 Queen Anne's Gardens, London W14 1TU, England

**ISBN 0-903868-92-X**

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

**Печатается без ведома и согласия автора**

Printed in Israel

## От редактора

Имя А.Г.Мурженко, думается, не надо особо представлять читателю.

15 июня 1970 года он вместе с Э.Кузнецовым, М.Дымшицем, Ю.Федоровым, И.Менделевичем, И., В., С.Залмансонами, А.Альтманом, Л.Хнохом, Б.Пэнсоном и М.Бодней был арестован в ленинградском аэропорту "Смольное" при попытке захватить и увести за границу пассажирский самолет. Участники группы были единственными пассажирами этого самолета, а экипаж его – по плану действий – предполагалось высадить в СССР на промежуточном аэродроме: через границу самолет должен был вести пилот М.Дымшиц, участник группы.

"Самолетное дело", по замыслу участников, должно было продемонстрировать отчаянный протест советских евреев против запрещения выезда в Израиль. С этой точки зрения оно и достигло цели – стало катализатором в том общественном процессе, который завершился "третьей волной" эмиграции и репатриации евреев из СССР, выездом из этой страны свыше трехсот тысяч человек. Сотни тысяч еще остались ждать своей очереди за "железным занавесом"...

А.Мурженко, украинец, как и Ю.Федоров, русский, были привлечены к участию в группе товарищем по заключению в мордовских политических лагерях, организатором самолетного побега Э.Кузнецовым: в "деле", столь рискованном, ему требовались надежные и твердые, испытанные "подельники" (остальных участников группы он знал совсем недолго). В качестве одного из главных действующих лиц на процессе "самолетчиков" А.Мурженко был приговорен к

14 годам заключения, которые отбыл в лагере для рецидивистов (т. е. лагере особого режима) вплоть до последнего дня своего срока – до 15 июня 1984 года.

Кто же он – Алексей Мурженко?

Он родился в многодетной семье на станции Лозовая на Украине в 1942 году. Отец погиб во время войны. С 10 лет мальчик воспитывался в Киевском суворовском училище. С огромным трудом вырвавшись из пут кадровой военной службы, поступил в Московский финансовый институт. Здесь, на первом курсе, был арестован как участник подпольной студенческой неомарксистской группы "Союз свободы разума" и осужден на шесть лет заключения. Срок отбыл до конца и после его окончания подвергался обычным преследованиям КГБ и МВД, систематическим и изматывающим: ему отказывали в продолжении учебы, несмотря на успешно сданные вступительные экзамены, лишали прописки и проч. Как признается сам А. Мурженко, именно "негласный террор" против освободившегося, уже отбывшего свой срок заключенного, и толкнул его на участие в самоубийственном, хотя и героическом "самолетном деле", практический провал которого он заранее предвидел.

Такова история главного персонажа этой книги.

Я не оговорился, назвав его персонажем, а не автором. Дело в том, что Алексей Мурженко не писал эту книгу. Писал он из лагеря письма близким – жене и дочке. Его письма аккуратно переписывались, копировались его друзьями и получили широкое хождение в "самиздате". Составитель настоящей книги г. А. Фельдман собрал вместе эти письма и составил из них первый вариант рукописи (отрывки из него публиковались в периодической печати, например, в израильском русскоязычном журнале "22" в 1980 году).

Когда она попала в редакторские руки, я счел нужным подвергнуть рукопись, как говорят на Западе, "глубокому редактированию" (в СССР этот процесс называют "литературной обработкой"). В этом вступлении я хочу объяснить мотивы своей работы.

*Во-первых, не следует забывать, что, за исключением одного письма, адресованного другу и написанного до ареста 1970 года (с изложением хода первого суда и впечатлений от первого приговора), все письма А.Мурженко прошли через цензора лагеря особого режима. Это не могло не наложить сильный отпечаток на тексты: достаточно отметить, что А.Мурженко не смог коснуться в рукописи самого важного эпизода своей жизни – "самолетного дела": о нем нет ни слова! Но и то, что оказалось возможным написать, было написано с учетом цензуры: вместо прямых и четких суждений и описаний читатель писем сталкивался с завесой "лишних" слов, назначение которых было явно отвлекающим – дабы пробить мысль через "проверяльщика".*

*Прочитав письма, я пришел к выводу, что из этих текстов может получиться цельная книга, передающая читателю "образ счастливого человека", как выразился о себе сам А.Мурженко. Но для этого, как мне показалось, ее надо было освободить от неизбежного балласта, порожденного подцензурным существованием автора.*

*Во-вторых, А.Мурженко не писал книгу – он писал просто письма к родным, причем часто будучи больным и всегда в тяжелейших физических условиях (об этом – смотри в тексте). Естественно, в письмах, предназначенных для близких, человек не обрабатывает свой стиль так, как он это делает, когда знает, что его труд попадет на всеобщее обозрение. В таких случаях автор обычно соглашается на вмешательство дружески расположенного редактора в его текст. Но, к сожалению, прямой контакт между автором и редактором в наших условиях был невозможен...*

*Я старался быть предельно внимательным к его образам, мыслям и впечатлениям, но мне казалось, что, подвергая его текст композиционной и стилистической правке, я лишь помогаю выполнению воли автора: сделать опыт его мыслей и чувствований достоянием читателя в наиболее ясной форме.*

*Все это вступление сводится, в сущности, к следующе-*

*му: ответственность за эту книгу лежит не на А. Мурженко, который готовой к печати рукописи не видел и не мог ее одобрить или отклонить, а целиком на мне – на литературном редакторе. Я сделал из писем относительно цельный текст, перекомпоновал эпизоды, разбил его на главы и не раз правил стиль. Все-таки мне кажется, что мысли и дух Алексея Григорьевича мне удалось сохранить в неприкосновенности.*

*Будем надеяться, что ему самому удастся оказаться по эту сторону "железного занавеса" и высказать свое мнение об этой книге, составленной по материалам его подцензурных писем.*

*М. Хейфец*



## Предисловие

Уж на что, казалось бы, миллионноголов Змей Горыныч — и огнем-то он дышит карающим, кого испепеляя, кого в трепет вгоняя, и серным смрадом дурманящих словес во все уголки своего обширного царства проник, — а все же то и дело не там, так тут обнаруживаются непокорные. О вере в победу не приходится говорить, не она толкает их к протесту, а отчаяние, невозможность и далее покорно существовать в царстве зловония. Враждебность царства сего людскому естеству не случайна, не случайно преступает оно в этом все мыслимые меры, и потому самая суть человеческая, сокровенное нутро противится духу его, не приемлет, норовит извергнуть как рвотную массу. Провалилась в небытие самая главная похвальба Змея Горыныча: овладеть людской душой, сотворить "нового — советского — человека". Многих он покалечил, еще большее число напугал, но не преуспел.

Вот Мурженко... Со стороны глянуть — все у него гладко, удачливо: суворовское училище, институт в Москве (если память не изменяет, — финансовый), всячески талантлив, и внешностью его природа не обделила — белозубый красавец с плакатным румянцем на смуглом лице; три вечера в неделю — боксерский ринг, три вечера — фолианты в "Историчке", в субботу — танцплощадка... И вдруг навалились со всех сторон квадратные существа в голубых погонах — арест: злоумышлял изменить существующие порядки посредством агитации-пропаганды.

— Где уж там "изменить" порядки эти самые, — потом, очень потом, лет через пятнадцать, говорил он, взглядываясь в себя былого. — Просто больно уж тошнотно все стало, душ-

но... А еще как подумаю, что вот, мол, мир такой необъятный — Японии там всякие, Берег Слоновой Кости, ажур океанской пены и прочие красоты, включая желтых львов на желтом песке... А граница-то на замке... Вот и получил океанский простор, — обводит он усмешливым взглядом прогулочный дворик: шесть метров в длину, пять в ширину, перед дощатым туалетом очередь, по мостику над нашей головой прохаживается надзиратель — насупленная личность в мятом мундире.

Так и вышагиваем отпущенный нам властью прогулочный час: я — кое-как, вразвалку, Мурженко — строго по прямой.

Лагерь, он к расхлябанности очень толкает: голова и сердце другим заняты, не говоря уж о том, что не для кого прихорашиваться, да и хлопотно слишком: пуговицу какую-нибудь там раздобыть — целая эпопея, ножницы у надзирателя выпросить на минутку — полдня убить... И потому бушлаты рваные, засаленные, шапчонки жеваные, обгоревшие, ботинки без шнурков... А Мурженко словно в высоких сапогах всегда, даже если и без сапог — такая пружинистость шага, такая четкость поворота, что невольно дорисовываешь прищелк каблуков. Я помню его первое появление в лагере, ему тогда всего девятнадцать лет было — этакий юный поручик, снедаемый горением высокому послужить, за хорошее пострадать.

За многие годы топтаний на одном пяточке я его во всяких ракурсах видал — и в работе подневольной, и с горбушкой липкого хлеба в руке, и в драках с нахрапистыми уголовниками... А запомнился он мне более всего над книгой. Но даже не столько читающим, сколько задумавшимся. Он — книгочей. Однако — не запойный любитель философов, заталкивающий шершавость мироздания в стройный каркас всеобъемлющих схем, его интерес иной: нащупывать первичные смыслы бытия, извлекать из хаоса некий лад, стиль.

Высокий человек в лагере — тема трагического звучания. Высоких и нормальная-то жизнь не жалуется лаской, а уж

лагерь тем более. Там слишком расхожа поговорка о волчьей жизни, которая-де понуждает "по-волчьи выть", там на упрекающий вскрик: "Где же твоя совесть?", услышишь хвастливое, с вызовом: "Где совесть была, там х.. вырос!".

Что такое лагерь?

Лагерь — это болото, зыбкая трясина, которой ни конца ни краю, а под каждой второй кочкой шипит гадюка.

Что такое лагерь?

Лагерь — это пустыня, где шакалы, самумы и гибельные миражи.

Что такое лагерь?

Лагерь — это город с его трущобами, крысами на помойках и смрадными подворотнями, где притаились зловещие силуэты.

Лагерь — это голый человек, а над ним всегда угрюмое, стылое небо вечного севера. Но и пронзительной чистоты просвет иной раз засквозит вдруг... тому, кто высок и вверх тянется.

Мне всех приемлемей Шаламов, сказавший: "Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдерживали".

А Мурженко — один из этого малого процента.

Э.Кузнецов



**ЧАСТЬ I**

**ПЕРВЫЙ АРЕСТ – ПЕРВЫЙ СРОК**



## Глава первая

### *Письмо первое. Июнь 1970 года.*

...Когда эти записи попадут тебе в руки, я буду уже далеко — по ту сторону колючей проволоки. И это, пожалуй, будет верно не только в случае удачи, но и в случае неудачи. Если наш побег удастся, я буду по ту сторону колючей проволоки границы; если провалится — я буду за колючей проволокой лагеря в нашей "родной Мордовии".

Для тебя мое бегство в мир загнивающего капитализма ("Гниет, но какой запах!" — помнишь анекдот?) будет неожиданностью. Оно неожиданно и для меня самого: до недавнего времени я исключал этот вариант в моей жизни...

Нас будет шестнадцать<sup>1</sup>. Если побег удастся (впрочем, если не удастся — тоже), о нем будут говорить, будут высказывать свое понимание наших мотивов. Конечно, у каждого из беглецов свои мотивы, но основная причина побега лежит на поверхности: нет возможности свободно эмигрировать, поэтому приходится переходить границу нелегально и даже идти на такой шаг, как захват самолета (правда, на земле, а не в воздухе, и, конечно, без оружия — без "мокрого").

...Уже ничего нельзя изменить — у меня настроение как-микадзе! В мыслях не прочь, чтоб нас сбили в воздухе, — это был бы достойный конец. Мытарства мне надоели, идти на компромисс с совестью я не могу. Я устал... Впрочем, говорю то, что ты прекрасно знаешь, сам пережил и слышал от многих, побывавших в "местах, не столь отдаленных".

Но — к делу. Итак — март 1962-го... Восемь лет назад... Я сижу в мчащейся по улицам Москвы "Волге", под ко-

лесами шуршит асфальт, гул улицы бьется тугими волнами в окна машины. Меня зажали на заднем сиденье два мордovorота; впереди, рядом с шофером, — третий. Несколько минут назад я их не знал. Впрочем, знаю ли сейчас? И знают ли они меня? От этого мучительного вопроса подташнивает.

— Послушайте, — обращаюсь к ним, — у меня с собой есть паспорт. Вы можете сразу убедиться, что я не Коля... как вы его называли? ...которого вы ищете, — делаю движение рукой в направлении внутреннего кармана пиджака и ловлю настороженный взгляд и колебание в глазах, да и во всей позе одного из мордovorотов. Рука замирает.

— Мы скоро приедем, там и покажете, — говорит сидящий впереди.

— Но я спешу, мне надо в институт. А вы тут же убедились бы в ошибке...

— Ничего, успеете. Мы вас подкинем в институт.

Эта фраза успокаивает. Не потому, что теперь я не боюсь опоздать в институт, — туда я сегодня и не собирался, а шел на встречу с "контриком". Фраза вселила надежду, что меня действительно выпустят. Но тут же мысленно возвращаюсь назад, к тому, что произошло, и чувствую: ошибки нет, они *знают*, кого везут. Потому и паспорт не нужен. Руки-то завернули и в машину толкнули так бесцеремонно, как если бы все обо мне знали. Но что они могут знать?

Они подошли ко мне на улице, недалеко от станции метро "Кропоткинская", один спросил, не Колей ли меня зовут. Я ответил: "Обознались" — и двинулся дальше, но они шли рядом, и тот же курносый-красномордый сказал: "Нет, вы очень похожи на Колю Пяткина". Я теперь Пяткин?

Почему я не испугался сразу, почему не оборвалось все внутри? Вообще-то сердце екнуло. Но когда дошел смысл их бессмысленного вопроса, страх и догадка моментально исчезли. Вспомнился подобный случай полгода назад, летом.

Продымленный солнцем лейтенант милиции, сидевший в засаде, в милицейской коляске, за каким-то ларьком, взглянул на мои документы и задал несколько "хитрых во-



просов". Внезапно рявкнул: "Ну, колись, где ксивы<sup>2</sup> взял?" Я тогда не понимал жаргона и потому был ошарашен, но не смыслом слов, а грубым тоном. Не понял, что это последний акт проверки, — попытка по моей реакции определить, не из преступного ли я мира. Я не был знаком с "феней"<sup>3</sup>, да и с властями не привык грубо разговаривать и потому удивленно-рассерженно ответил: "Вы мне не тыкайте, вон ему можете тыкать", — и кивнул на старшину, смахивающего на Коцея Бессмертного, который доставил меня в эту засаду (остановил на выходе из кафе, куда я забежал перекусить после напряженного рабочего дня в библиотеке имени Ленина). Тогда они тоже спутали меня? И я действительно похож на неуловимого Колю-Фантомаса?

Об этом-то я и думал, сидя зажатый между двумя мордоротами в машине. В прошлый-то раз у меня за душой ничего не было... Сейчас же приходилось прикидывать, как много они могли узнать. Могли засечь на диспуте в Политехническом, в институте?

То был один из первых диспутов после сталинского молчания — их устраивал тогда горком комсомола (эти диспуты быстро прикрыли, и, подозреваю, что наши листовки содействовали ликвидации затеи либералов из горкома). Выступал "контрик", аспирант-химик из МГУ, поведавший собравшимся комсомольцам об изумительном факте своей биографии: оказывается, смысл жизни не в химии, как он думал раньше, а совсем в иных сферах, и если даже "рыба ищет, где глубже", то советская молодежь тем более должна найти свою глубину (устроители диспута, помнится, пытались навязать участникам такую интерпретацию старой половицы: "Рыба ищет, где глубже, а человек — где ударные стройки коммунизма").

На этом-то диспуте я во время перерыва разложил наши листовки — в аудитории, на скамьях, а одну подал сразу после выступления "контрику", еще не остывшему от пламенной речи.

— Вот как это можно понять? — спросил я его с наивным

удивлением. — Это администрация разбрасывает воззвания в зале?

Листовку стали читать придвинувшиеся к нему друзья. Пробежав первые строки нашего "Манифеста", подруга узревшего смысл жизни химика воскликнула: "Петя, это провокация! Отдай назад листовку!"

Сейчас-то я понимаю, что девица трезво оценила обстановку. Я среагировал быстро: сам, мол, нашел листовку у себя на сиденье, а так как выступление Пети вселило в меня надежду в Петю, что с ним-то можно говорить о "смысле жизни" и "вообще", я и решил показать ему и вместе разобраться в этой абракадабре — что тут написано... Петя как будто успокоился, взял листовку и сказал: "Что ж, я позже ее прочитаю, сейчас хочу послушать выступления, а с вами мы можем встретиться в библиотеке Ленина, в общем зале — вернее, в курительной комнате возле него. Понедельник, шесть часов вечера, вас устраивает?"

Ну, допустим, тогда-то они меня и засекали. Так что? Приедем, скажу то, что всем говорил: нашел у себя на сиденье.

Где еще могли засечь?

В моем институте. Там я многих знакомил с "найденными" листовками. В университете? Слишком часто я появлялся там, и листовок оставил многовато.

Перебираю разные эпизоды, в которых кто-то мог наблюдать меня со стороны, и цепочка могла наткнуться на осведомителя и вернуться с оперативниками обратно ко мне... Да, ведь есть еще друзья — тоже могли привести след к квартире, в которой мы собирались. Все равно, знать о нас много "органы" не должны, у них могут быть только подозрения...

— Второй раз со мной такое случается, — повернулся я к морде, сидящей справа. — Вы что же, сначала берете человека, а потом смотрите, кто вам попался? Так пока вы нужного человека схватите, сколько лишней работы переделаете, сколько людей придется таскать из машины да в машину

— это же время, силы! В одной Москве вон сколько народу! Часто бывают такие ошибки?

Это я задал — ”хитрый вопрос”. ”Бывают, конечно”, — ответила одна из морд. Что следует из этого ответа?

— Так, может, миллион людей перетаскаете, пока найдете нужного?

— Можем, конечно, — флегматично отреагировала морда.

”Так, — думаю, — что же еще придумать?”

С тех пор прошло больше восьми лет. Шесть из них я провел в ”местах, не столь отдаленных”. Почему же я начал свои воспоминания с первого ареста — эпизода, казалось, давно затерявшегося в памяти? Возможно, эта поездка в тесных объятиях ”представителей организованного насилия” положила начало новому этапу моей жизни, стала для нее как бы точкой отсчета в двух векторных направлениях — в прошлое и в будущее.

До этой точки жил-был человек, подобный всем окружающим его трудящимся. Он был схож с ними даже в главном — он был свободен. Если выразиться точнее, он жил в мире, который называли ”свободой” или ”волей” люди, находившиеся в другом мире — в мире неволи: в заключении — в лагерях или тюрьмах. Мир человеческий можно делить сознанием на разные части, но первое и самое существенное деление начинается с деления на свободу и рабство, на волю и неволю. Допускаю, что для других людей именно такое деление может показаться случайным, ничего не говорящим их воображению и чувствам, но для меня, прожившего шесть лет в неволе, — это очевидно. Тот, кто побывал в мире неволи хоть раз, постиг его реальность, вездесущность и всемогущество, — тот понял, что мир несвободы огромен и открыт для принятия в свое лоно любого человека (”от сумы и от тюрьмы не зарекайся”). Каждый может оказаться в пределах его жестокой, неумолимой власти. В нем рождаются люди, в нем проводят лучшие годы жизни, в нем умирают.

Если внимательно присмотреться к соотношению несво-

боды и свободы, окажется, что силы мира неволи подчиняют себе мир воли. Знаю — это неочевидно. Многие, хоть и живут в несвободе, но непосредственно не соприкоснулись с миром неволи, о котором я говорю, и если даже случайно призрачные его очертания коснутся сознания такого человека с "воли", они скользнут по его поверхности, как тени в китайском театре теней.

Я отчетливо помню, как я, лично я, осознал, что существуют два мира — свободы и несвободы, и отсюда — возможность потери мною свободы. Это были несколько минут моей жизни, но они навсегда остались в памяти.

До этих мгновений мы два-три раза говорили с друзьями о неизбежности репрессий, об аресте, о том, как вести себя на следствии. "Жизнь вокруг убогая, серая. Ничто не обещает иного существования в будущем, если мы будем плыть по течению. Мы выбрали путь свободного волеизъявления, свободного духовного самовыражения (именно так мы говорили!). Мы открыли новое для всего общества поле духовной деятельности, и это обещает нам в будущем богатство переживаний и открытий. Правда, наш путь связан с опасностью, но именно опасность дает остроту переживаниям, остроту существованию! Ясно, что ценность и смысл жизни — в самом характере нашей деятельности, в принесении собственной судьбы на алтарь общего блага (говорили даже про "жертвенный алтарь" — высоким штилем). Но обретение смысла жизни без борьбы, без опасности не даст острого переживания в личном бытии, не выведет за пределы обыденного существования".

Коротко говоря, призрак будущей неволи не пугал нас, а наоборот, украшал повседневную жизнь. Но пришло мгновение, и я осознал притягивающую силу существования жизни "просто так", красоту жизни без риска, без высоких целей, без жертвенной деятельности. Это произошло неожиданно и просто.

Как-то я вышел на улицу и увидел, что тусклая, сырая зима, нависшая утром у порога института, исчезла. Солнце,

оттепель, я шагал по проспекту Мира, греясь в жарких лучах: был конец февраля, но весна дохнула всей мощью! Эта внезапная метаморфоза, эта неожиданная близость зимы и весны, мрака и света, холода и тепла, пустоты и надежды, — будто сдвинули глубинные пласты моей души, столкнули в ней волю к жизни и неосознанную мной самим тягу к небытию. Это были последние дни перед арестом, и душа будто в последний, решающий раз выбирала между мирами воли и неволи.

Помню: я стоял, щурясь от солнца, замороженно следил за сосульками, свисавшими с крыш, за полетом капель тающей воды, за слабыми, разбегающимися и снова набегаящими друг на друга волнами в лужах талой воды — и в душе бродили странные чувства: "Вот это, наверное, и есть смысл жизни — жить, просто быть, существовать в мощи своих чувств, в силе жизненных токов, в извечном круговороте желаний". В солнце, в сосульках, в каплях, в лужах — всюду мне виделась сладость природного совокупления, рождающего жизнь.

"Человеку тоже дано высшее счастье, смысл бытия в любви, в продолжении жизни. Но ты, — это я обращался к себе, — можешь потерять это счастье. У тебя ведь оно — в ином... Ты давно примирился с будущей неволей. Примерял на себя кандалы школьных кумиров (мне было тогда восемнадцать лет!) — кумиров, бредущих по Владимирскому тракту. Откуда это ослепление, это затмение разума? От осени и зимы? Они закрыли свет жизни. А теперь, при свете солнца, зачем жалкий сполох борьбы и риска — тусклый при свете, при сиянии дня жизни? Жизнь великолепна в самой себе, благо ее, например, в том, чтобы стоять среди весеннего города и радоваться солнцу и собственной свободе... Много ли нужно для счастья? — спрашивал я себя и перечислял: "Хлеб, любовь и... Все?"

Что такое, в конце концов, справедливость, ради которой я готовился пожертвовать своей свободой? Это был опасный ропот, готовый перерасти в отступничество.

Вот тогда, глядя на весеннюю лужу воды, я и разделил цельный дотоле мой мир на два мира, я почувствовал заранее, что меня ожидает в неволе — мрак, бессмысленность, смерть; конкретно, конечно, я ничего представить не мог. Признаюсь здесь честно: если бы это чувство, порожденное такой мелочью, как капли воды, стекавшие с сосуллек, повторялось, мне стало бы очень трудно продолжать идти уже выбранным и определенным путем. Счастливы мы устроены, что впечатления и настроения меняются быстро...

Следующий день, пасмурный и февральски-промоглый, приглушил жажду животной жизни, прикрыл ее в моем сознании обычным пессимистическим восприятием и окружающего, и своего собственного существования. Но ощущение двух миров в цельном прежде мире осталось с того дня навсегда во мне, и оно, очевидно, свойственно каждому, кто побывал в ИТЛ<sup>4</sup>. Впрочем, может, для такого ощущения нет необходимости побывать в лагере самому? Главное-то не в материальных атрибутах границы двух миров — ну, там, вышки, заборы, проволока: я и на воле встречал людей, живущих и мыслящих заранее под сенью мира неволи... Факт возможной несвободы уже заранее включен в их жизнь, и они существуют с вечной поправкой на потенциальную возможность падения — ”в суму и тюрьму”!

\* \* \*

Машина со мной и мордоротами свернула в показавшийся знакомым переулочек. Ну да, это же Лубянка! Не так давно мы с Витьком Балашовым специально приезжали сюда полюбоваться на дом, в котором служат охотники, промышленяющие дичь вроде нас. Необходимость в дальнейших ”хитрых вопросах” отпала: это не задержание, а арест.

Открылись ворота. ”Челюсти дракона”, — промелькнуло в мозгу название чьего-то романа. В кабину заглянул часовой, и мы въехали в каменную пасть замкнутого со всех сторон двора.

Приехали мы на Лубянку не с парадного входа: вокруг меня виднелись старые крылечки, ведущие внутрь здания, построенного в форме каре. Я с любопытством и трепетом оглядывался вокруг, стараясь запомнить все и прислушиваясь к своим переживаниям: "Вот ты и переступил границу тайного и жуткого мира", — помню, сказал я себе невесело. Что уж говорить — это были исторические минуты моей жизни.

— Это самая интересная, хотя и жуткая, история из тех, что случались с тобой, — объяснял я себе. — Ты этого хотел. Получай и не ропщи.

Мы подошли к одному из крылечек и, пройдя полутемными, запутанными коридорами, оказались в небольшом, слабо освещенном кабинете. Все ушли, я остался с одним из мордovorотов. Сидели молча. Возбуждение мое стихло. Внешне я был спокоен, но, помню, мысли скакали обрывками: "Свершилось... Ты, возможно, сидишь в том же кабинете, где приходилось сидеть Рыкову<sup>5</sup> и Бухарину<sup>6</sup>, Гухачевскому<sup>7</sup> и Якиру<sup>8</sup>... Вот оно, "Слово и дело"<sup>9</sup>... Тайная канцелярия... Запечных дел мастера... Третье отделение... Инквизиция... Инквизиция применяла пытки... Все было расписано, каждая пытка соответствовала грехам, умолчаниям, признаниям... А наш Малюта Скуратов<sup>10</sup> руководствовался своей фантазией... Лучше уж формализм... А как сейчас — лупят? Странно: человек отдан во власть человеку... Я в полной власти... Человека ли? Сейчас наступят на меня маховики бюрократической машины; мы оба, я и мой допытчик — в ее власти... Алтарь Молоха! А вдруг выйдет генерал, погрозит пальцем: "Впредь не балуй!" — и отпустит? Я бы потом рассказывал об этом аресте как о самом остром ощущении своей жизни".

Тут вошли двое: рыжий, тот, который в машине сидел на первом сиденье, и другой — незнакомый, среднего роста, плотный, с длинными, прямыми, черными волосами.

— Так... Алексей Григорьевич, кажется? — сказал рыжий. — Вот с вами побеседует товарищ, и он решит все, что

вас волнует, — тут он кивнул охранявшему меня мордовороту, и они оба вышли.

— Я спешу в институт и уже опаздываю на лекцию, так что прошу меня не задерживать, — обратился я к черноволосому. — Этот рыжий, который вышел, обещал меня подбросить на "Волге" к институту.

— Все будет в порядке, Алексей Григорьевич, не волнуйтесь, давайте побеседуем...

С полчаса мы вяло беседовали — уже не помню, о чем именно, — как вдруг зазвонил телефон. Черноволосый поднял трубку и подтянулся на стуле: "Да. Знакомимся. Можем. Есть". Он бережно положил трубку и сказал: "Пойдемте со мной".

Через минуту я утонул в мягком кресле, стоявшем посреди огромного кабинета. Вокруг меня расположилось несколько старших офицеров КГБ в форме и "гражданских лиц". Возглавлял консилиум генерал.

— Ну, расскажите, сколько вы листовок изготовили?

— Я не изготовлял листовок!

(В скобках замечу, что формально это была чистая правда: печатал листовки Вик<sup>11</sup> в типографии Министерства обороны /типография имени Дунаевского/ — там он работал.)

— Ваш сообщник Балашов был более правдив с нами. ("Про Вика знают", — мелькнуло в голове.) Какую цель вы ставили?

— Моя личная цель — свобода разума.

— Это у вас одна из расшифровок названия вашей организации? ССР — "Союз свободы Родины", "Союз свободы России" и он же — "Союз свободы разума"? — обратился ко мне один из штатских.

Я перевел взгляд с генерала на него. Он был стар, лицо — зелено-синее, я не преувеличиваю. Если бы не выражение участия и интереса — именно так он старался выглядеть, разговаривая со мной, — я подумал бы, что в этом кресле кто-то скоропостижно скончался. Участливый мертвец!

Генерал подозвал черного и что-то сказал ему. Тот по-



дошел ко мне и проговорил: "Пойдемте, Алексей Григорьевич!" Уходя, я услышал обрывок фразы: "Трое из них воспитывались в суворовском училище!"

Теперь я вступил в другую комнату (при переходе из комнаты в комнату нас постоянно сопровождал дежурный сержант). Через несколько минут туда вошли молодой бледный мужчина и неопределенного возраста женщина. Начался обыск...

Так я вступил в мир неволи.

\* \* \*

Было уже поздно. После тщательного обыска и изъятия бумаг, бывших при мне, меня отвели в тюремный корпус. Здесь надзиратель открыл дверь в маленькую камеру и ввел меня внутрь. В камере стоял стол, возле него был привинчен стул и на полу лежал коврик-половик. Больше ничего из обстановки в камере не было. Дверь замкнулась за надзирателем, и я сделал первые шаги в камере. Я устал. И, решив, что "утро вечера мудренее", снял пальто, пиджак, примерил пальто к столу — он оказался коротким, расстелил пальто на полу, лег и укрылся пиджаком. Я уже крепко спал, когда дверь открылась и вошли трое: надзиратель, дежурный офицер и врач в белом халате. Мы с удивлением разглядывали друг друга: я — спросонья, а они, как потом выяснилось, заподозрили во мне "чокнувшегося": кто же еще мог улечься в камере на полу в ожидании медосмотра?

После медосмотра меня отвели в душ, а оттуда в камеру, где стояла койка. Увидев ее, я удивился, но еще больше удивился, когда мне принесли матрас, подушку, одеяло, простыню, наволочку. Помню, отметил в сознании готовность спать на полу и удивление перед постелью с простыней. Но тогда я не задумался над этим психологическим феноменом, отражавшим нашу склонность представлять реальность по заранее заданному стереотипу.

Тогда, еще не побывав в тюрьме, я не мог постичь сути

страданий неволи, пытки неволей. Я не знал, в чем ужас неволи, и потому стремился сделать мир неволи просто непохожим на обычный, на тот, в котором жил до сего дня. Так и улегся с готовностью на пол и, наоборот, страшно растерялся, когда принесли одеяло и простыню. Кстати, готовность спать на полу возникла почти неконтролируемо в сознании: если бы подумал хоть немного, то, конечно, удивился бы отсутствию постельного белья и кровати. Я был в шоке, и реакция на тюрьму была у меня бессознательно-глубинной, она шла из подсознательного представления о Лубянке, как о мире страданий и мучений человека. Но в чем именно страдания и мучения будут заключаться — я еще не знал.

Я потому так много об этом пишу здесь, что до сих пор, восемь лет спустя, удивляюсь алогичности своего поведения. Ведь я на воле изрядно читал и много думал о будущей тюрьме, думал о жизни народовольцев, верил глубоким описаниям жизни в неволе у Веры Фигнер, Николая Морозова<sup>12</sup>. Знал, что в тюрьме есть койка и постель, но с готовностью принял тот факт, что в тюрьме придется спать на полу. Хорошо помню, что я отчетливо усвоил в их книгах: в тюрьме люди страдают не только и не столько от сырости, холода, плохого питания, отсутствия литературы, но и от сознания изолированности, от обреченности на долголетнее погребение в камеру. Ибо человек, изолированный от мира, находящийся во власти чужой силы, жизнь которого подчинена регламенту, ограничениям и несвободе, — что он такое? Этот человек — вещь! Этот человек — раб!

Мы не имеем чувств, которые помогают жить в неволе, и потому, оказавшись там, лишаемся *чувств* — попросту лишаемся жизни: так я это ощущаю. Но поскольку духовная жизнь есть порождение и продолжение жизни чувственной, она становится в камере или бараке эрзацем, заменителем обычной жизни чувств. Люди скудной духовной жизни видят спасение от гибели в работе, в способности достать необычную пищу, в общении, наконец. Люди духовные ищут

самосовершенствования, интеллектуального творчества как шанса на спасение. Поэтому первые всеми силами добиваются работы, вызывающей у них положительные эмоции (работы выгодной или интересной), хорошей и разнообразной еды и права выбирать сокамерников по характеру. Вторые же требуют, главным образом, книг и возможности сосредоточиться для размышлений. Я помнил, что голодовками, самоубийствами, оскорблением начальства (которое каралось смертной казнью) народовольцы добились, — пусть не для себя, а для товарищей, — прежде всего, книг с воли, а уже только потом прогулок, огородных работ и общения.

Впрочем, к состоянию неволи привыкаешь. Очень трудно это дается неразумным животным, но нам, хвала Всевышнему, дан разум! Это заслуга разума, что мы привыкаем легче. Увы, разум у нас несовершенный, и потому окончательно завязать в смирительную рубашку звериное начало свободолюбия он не в состоянии. Сначала-то он усердствует в создании картины мироздания, куда тюрьма вписывается гармонически, утешает нас этой картиной, но потом вдруг бунтует и заявляет, что он сходит с ума. Разум имел в виду, что до бунта он занимал умную позицию...

И тогда в душе поднимается хаос, мощная волна отчаяния, смешивающая сознание.

В первую тюремную ночь усталость от всех процедур ареста и молодость помогли мне быстро уснуть, но утром я все же... всплакнул. Я заплакал, когда после завтрака надзиратель принес мне одежду, которую с меня сняли вчера, после "дезинфекции". Вместе с ней принесли яблоко и несколько конфет: это богатство осталось у меня после посещения кафе, куда мы накануне зашли с Виком "обмыть" мою стипендию. Мы посещали кафе, обычно "Националь" или "Метрополь", два-три раза в месяц — когда появлялись деньги. Пили вино, заедали фруктами и конфетами, слушали оркестр, созерцали публику и вели крамольные беседы.

Остатки конфет и фруктов, по бедности, забирали в свои студенческие папки.

После тюремной дезинфекции от костюма и пальто пахло хлоркой, и тем резче в камере выделялись яблоко и конфеты, как яркое пятно в натюрморте, подчеркивающее блеклый тон. Чувства, убаюканные ночью, подавленные волей, внезапно пробудились, прорвали преграду воли и брызнули — слезами. Я закусил губы и стал метаться из угла в угол. Что со мной происходит?! Нет, я не боялся тюрьмы. Я осознавал, что в подобной ситуации человек не должен раскисать, вспоминал, как вели себя книжные герои, — кажется, они сверлили стальным взглядом замки на дверях, железными пальцами сжимали прутья решетки и произносили фразы для истории (видимо, записанные подслушивавшими надзирателями). На мгновение меня это восхитило. Но сосредоточиться на мужественных картинах я не смог — в потоке чувств всплывали обрывки иных, горьких мыслей: "Здесь инобытие. Просто — загробный мир. Кто это говорил Одиссею, спустившемуся в подземное царство теней: "...лучше наемником жалким от зари до заката гнуться за плугом, жалким рабом пресмыкаться на воле, чем быть — хоть бы богом — в Аиде..." Нет, не то... Бог был готов променять свое бессмертие в Аиде на участь смертного на земле, а я ведь на земле... Это не склеп — тут мне жизнь положена! Но как вынести эту жизнь, если я живу — тенью?! Нет, я не тень, но плоть, но... но лишенная собственной воли. Теперь мною будут управлять. Я — тут в памяти почему-то всплыло латинское определение, — я — инструментум-вокабулус. Эх, если бы сердце и голову можно было сдать до освобождения в каптерку... Как это кричал бедняга Пьер Безухов? "Меня, властелина Вселенной, Божье творение, — лишить свободы!" Чуть не чокнулся... Хорошо, что Платон ему разъяснил — не греческий, а наш, обмотавший вонючими портянками ноги... Юродивый Каратаев... Конечно, юродство от всего спасет! Быть, как трава! Виновных нет, все невиновны. Все невиновны — а ты сиди, инструментум-вокабулус. Вот черти!

”Человек — это звучит гордо!” Люби Человека и человечество.

А можно ли вообще человеку не любить человечество? Вот сейчас скажу себе: ”Человек — это дерьмо! Человечество я ненавижу!”

Помню, мне захотелось произнести эти кощунственные для меня, тогдашнего, слова вслух, и от этой дерзости именно в этот момент высохли слезы. Ведь я до девятнадцати лет — напоминаю, столько мне тогда уже исполнилось! — ни разу не усомнился в Человеке как сосуде благодати и в человечестве как орудии самосознания Абсолютного Духа. (Именно так я рассуждал, гегелевскими терминами, вычитанными у Маркса и самого Гегеля.) Хочу сразу оговорить, что, конечно, ход мыслей своих реконструирую очень приблизительно, все-таки больше восьми лет прошло с того дня, — причем реконструирую не только приблизительно, но и иронически. Зато поступки свои помню точно: я снова стал ходить по камере из угла в угол, закусив губу и проглатывая комки, застрявшие в горле, а когда прокашлялся, то запел: ”Когда я был маленький мальчик, я спросил маму: ”Как же мне быть в этом мире...” Запел по-английски.

На звуки песни прибежал надзиратель и, открыв глазок, предупредил: ”Громко петь не разрешается!” ”Вот это да!” — сказал я себе и расхохотался: ”Ха-ха-ха!” Глазок снова открылся: ”И смеяться громко тоже нельзя!” ”Вот это да! — повторил я вслух. — Плакать я сам себе запретил, а смеяться — начальник!”.

Ни плакать, ни смеяться — вот что такое неволя!

## Глава вторая

*Отрывок из письма, написанного семь лет спустя.*

Здравствуйте, дорогие мои Любонька и Анютка<sup>1</sup>! Сегодня, двадцать шестого, получил ваше письмо, и вот пишу ответ...

Мне интересно, как человек, находящийся у вас, на свободе, относится к неволе, как представляет себе перспективу оказаться за решеткой, какие чувства в нем вызывает образ самого себя, томящегося в кандалах, в каменном мешке. Хотя сейчас кандалов нет, но, уверен, каждый, кто в своем воображении рисует себя в тюрьме, обязательно их вспомнит и, может быть, увидит, как он этими кандалами потрясает. Нынче популярны опросы общественного мнения и социологические исследования. Интересно бы провести исследование: как вы представляете неволю? какими видите людей в неволе? воображали ли вы себя в неволе?..

Отношение людей к неволе сложное, запутанное... В нем объединились и сострадание к мукам, к их жертве, соединенное с ужасом перед той силой, которая лишает человека свободы и подчиняет его плоть и душу своей власти — с одной стороны; и страх перед самим преступником, который кажется демоническим, ужасным существом, бросившим вызов, вступившим в борьбу с беспредельной властью, страх перед решительным, отчаянным башибузуком. Самое сильное чувство, по-моему, — первое (у большинства, не у всех). Сострадание к мукам принявшего вину и грехи мира на себя, сострадание к страдающему вообще — мощное чувство. Именно оно питает любовь к Христу, к его подвигу, и живет, и укрепляет веру в Бога. Это чувство сострадания к му-

чимому было когда-то доминирующим в отношении народа к преступнику и вообще к человеку в неволе. Узникам охотно давали в народе подавание, сочувствовали, жалели. В Сибири у каждого дома выставлялись крынки с молоком для беглых узников.

А как сейчас относятся к узникам?.. Может быть, развенчав страдания Христа как миф, человек освободился и от сострадания к мучимому неволей? Не возьмусь судить. Знаю только, что на этот счет в период "культы личности" существовал анекдот, который мои знакомые характеризовали как быль. Вот он: осужденный возвращается после суда и приговора в тюремную камеру. Сосед — через стенку — еще ждущий суда, вылезает к окну и спрашивает осужденного: "Ну как, сколько?" Тот тоже вылезает к окну в своей камере и кричит в ответ: "Четвертак<sup>2</sup>". "А, порядок. Расход<sup>3</sup>", — кричит спрашивающий и слезает с окна. В анекдоте, когда рассказывают не для вас, женщин, а в мужском обществе, вместо слова "порядок" употребляют более емкое русское слово, точнее передающее отношение зэка, ожидавшего суда, к сроку уже осужденного. Это выражение аналогично словам "чепуха", "нормально", "подумаешь!", "не страшно" и т. д. Мои знакомые добавляли, что диалог: "Четвертак — порядок — расход" слышался во всех тюрьмах каждый день...

Тебе, наверное, странно, что я, сидящий уже 13 лет, можно сказать, всю сознательную жизнь, все еще пытаюсь, стараюсь осознать собственное отношение к неволе. Нет в этом ничего странного: отношение к неволе изменчиво, оно формируется временем. Я знаю, что в процессе осмысления бытия через неволю можно возненавидеть насилие во всех его формах — и заключенный выкристаллизовывается в толстолица или гандиста. Или же — наоборот — в процессе сживания с неволей можно принять неволю как нормальный удел человека, обесценить волю вообще (я и такое встречал) и тем самым признать законными и насилие, и тиранию, и самому подготовиться к превращению в насильника и тирана. Между

этими крайностями много переходов в душе человеческой...

Мне было бы очень интересно проследить, как повлияла тюрьма на духовный, ценностный мир бунтовщиков и революционеров и сравнить их поведение на воле в революциях и гражданских войнах после тюрьмы или же — без такого прошлого. Умозрительный, логический, напрашивающийся ответ может быть ложным. Надо бы сравнить факты биографий: кто был гуманней, избегал насилия, кто выбирал более человеческие способы борьбы и способен был ради гуманности в борьбе пойти на самопожертвование...

Вот тебе, к примеру, эпизод, который в связи, в контрасте с моим поведением в ночь первого ареста, о котором я тебе писал, дает материал для понимания эволюции психики человека в тюрьме, хотя эпизод очень прост. Это — аналогичная ситуация, но уже при втором аресте — в семидесятом году.

После допроса, осмотра и изъятия вещей меня, как и в первый раз, отвели в тюремную камеру, только на этот раз не в московскую, а ленинградскую. Так же захлопнулась дверь. Я осмотрелся. На этот раз в камере было сразу две койки и тумбочка. Я стал ходить по камере. Через несколько минут дверь снова открылась, и надзиратель внес кружку, ложку, миску и матрас с подушкой без наволочки. "Пока все. В бане получите постельное белье".

— А когда баня?

— Через три дня.

— Три дня! — взвился я. — Ведите меня сейчас же в баню и давайте все, что положено, без фокусов!

— Ничего сейчас не получите, — отрезал надзиратель и закрыл дверь. Я бросился к ней и стал стучать.

— Не стучите, — сказал он из-за двери. Я продолжал стучать. Кормушка<sup>4</sup> открылась: "Я же сказал вам: перестаньте стучать, а то накажем".

— Я требую положенную при поступлении в тюрьму санобработку и постельное белье с одеялом, — раздраженно, упрямо орал я в кормушку. — Давай дежурного офицера!..



Через некоторое время (с помощью следователя) я выбил из них свое: меня отвели в баню, выдали простыню, наволочку, одеяло и полотенце, объяснив, что выдают "в нарушение правил", так как я считаюсь не арестованным, а задержанным, и в первые три дня мне санобработка не положена...

Теперь сравним мое поведение в первый арест в шестьдесят втором году и в этот, второй арест. Итак — эпизод первый.

Юнца девятнадцати лет, здорового и краснощеккого, с вылупленными от любопытства глазами допрашивают, обыскивают и, наконец, заводят в камеру. Он с усталым и ошарашенным видом оглядывает ее и бормочет себе поднос: "Так, заловили. Ну, давайте, мучайте меня теперь. Спать здесь на полу? Не боюсь! Несите и кандалы. Мой дух не сгноить на цементном полу, его не обуздать железными цепями". Юнец гордо вздергивает подбородок и, сняв пальто, устраивается спать на столе, но, поняв, что стол слишком короткий, выбирает место на полу и укладывается. Тут меня, нынешнего, веселит готовность принять наконец муки, это юмористическое столкновение реализма и романтики: юнец даже не спросил надзирателя, дадут ли ему постель!

Эпизод второй и внешне аналогичный. Такая же комната, такие же лица, занимаются тем же делом, что и восемь лет назад. Обыскивают, изымают, допрашивают того же молодого человека, только уже без румянца и с печатью скуки, обращенной на все происходящее. Наконец, уставшего молодого человека ведут по коридору и запирают в камеру. Он оглядывает ее и, как в первый раз, начинает ходить взад-вперед, но уже привычно заложив руки за спину. Внезапно бросается к двери и начинает яростно стучать и, когда открывается кормушка, обращается к надзирателю металлическим голосом: "В чем дело? Почему меня не бреют, не моют, почему до сих пор нет одеяла, простыни, наволочки и полотенца? Что за беспорядок в этой тюрьме?" Надзиратель огрызается, мол, не положено. "Вызовите коридорно-

го... то есть корпусного или дежурного, кто тут у вас, офицера!" — приказным тоном продолжает бывший романтический юнец. Через некоторое время дверь отворяется, и входят сразу двое: корпусной и дежурный офицер. Молодой человек, заложив руки за спину, чуть раскачиваясь с пятки на носок и обратно, повторяет свое требование. Офицер, как гвардейская лошадь, слышавшая звук боевой трубы, вздергивает голову и режет ему: "Вам тут не гостиница! Что дадим, то и получите!" Молодой человек перестает раскачиваться и становится на всю ступню: "Не гостиница? Да! Это мой дом. Мне тут жить, и создайте условия для нормальной жизни!" "Да?" — уже лепечет ошеломленный офицер. "Да-с", — ехидно парирует молодой человек. "Я вас накажу!" — находится офицер и, чтобы оставить за собой это "последнее и решающее слово", выскакивает за дверь. Но через короткое время мы видим молодого человека лежащим на чистой постели, побритого и, наконец, покрасневшего — после бани.

Во второй приход в неволю я, хоть и был в состоянии шока (арест всегда приводит к шоку, хотя арестованный может не чувствовать, не осознавать, что он в шоке), но моя реакция на условия содержания выражала изменившееся отношение к неволе, к подлинному смыслу этой казни. Там жизнь фактически останавливается — едва человек переступает порог тюрьмы. Я имею в виду жизнь нормальную, достойную человека, ту жизнь, к которой природа предназначила homo sapiens. По ту сторону тюремной двери начинается иная жизнь — жизнь телесной оболочки, находящейся во власти инструкций и законов, под наблюдением приставленных для слежки и командования лиц. Понимаешь ли, в неволе мы не только лишены свободы и семьи, всех человеческих удовольствий, кроме тех, которые доставляет нарочито скверная пища, изнурительно-ненужная работа и беспокойный сон: все куда хуже — мы лишены возможности утверждать себя людьми, существами мыслящими, действующими, творчески созидающими. Человек в неволе

консервируется, он может вычеркнуть эти годы из жизни. Неволя — путешествие в небытие.

Дух — единственное убежище, но, как все живое, дух тоже должен питаться, чтобы жить. Нужна литература, чувственная информация, нужно ощущать связь с жизнью других людей — а это все требует ослабления изоляции. Но как раз изоляция — суть неволи, поэтому дух тоже хиреет и уничтожается. Кроме того, физические тяготы и лишения — скудное питание, тяжелая работа, жесткий режим — поглощают энергию узника, и он постепенно опускается. Не только физически, но и духовно. Вот почему после шести лет первой неволи, оказавшись снова в тюрьме, я потребовал баню и постель... Казалось бы, требовал потому, что во второй раз я знал про "положенное", и это объясняет контраст в поведении с шестьдесят вторым годом. Но — нет, уверен, что это — не объяснение. Я и в первый раз знал, что в тюрьме спят на койках и матрасах, но с готовностью согласился улечься на полу. А во втором случае я мог согласиться с "законным обоснованием", что якобы постель задержанному не положена, а положена лишь подследственному. Но и в тот и в другой раз я руководствовался не логикой, а внутренней установкой. Первый раз ее создала литература: "Желаю пострадать за идею"; во второй — установку выработал опыт жизни в неволе. Я уже знал, что мои страдания и муки меня не обойдут, и отвоевывал, сэкономил частицу энергии для того, чтоб истратить ее на поддержание духовной жизни, а не на преодоление физических и материальных тягот и лишений. Сама изоляция — ужасное, может быть, величайшее наказание, которое человек положил в удел человеку. Нужно ли еще человеку в тюрьме одевать кандалы, брить голову, ограничивать в питании, переписке, свиданиях, литературе... Я почти полтора десятилетия смотрю из маленькой камеры за решетку и думаю: "Вам на воле дана в удел жизнь, мне здесь отпущена смерть. Годы идут... Полнота жизни раскрывается в небольшой промежуток жизни — между двадцатью и сорока годами. И в эти-то годы я обречен не жить —

вот мое наказание! Зачем изобретают ретивые юристы-специалисты изощренные пенитенциарные системы, системчики, режимчики. Они говорят — чтобы отвратить преступника от повторного преступления. Сидя внутри, я знаю лучше любого специалиста: никакие особо жестокие режимы никого не "исправят" и даже не устрашат. Устрашить может лишь самый факт изоляции — все остальное есть несерьезные комментарии к нему. Кто не устрасился изоляции, не устрасится никаких жестокостей и тягот режима...

## Глава третья

### *Продолжение первого письма про арест 1962 года.*

На Лубянке я провел две недели, пока не дали прочитать обвинительное заключение, а потом меня перевели в Лефортовскую тюрьму. Припоминаются какие-то куски разговоров, допросы, жизнь в камере с двумя соседями-подследственными: стариком-валютчиком и юнцом, арестованным вместе с компанией ребяташек — они написали краской на платформе пригородной станции: "Хрущева — на мясо!" после повышения цен на мясные и молочные продукты летом шестьдесят второго года.

Но встречи с ними были потом, а первые два месяца я сидел в одиночке и сполна мог почувствовать тюремный режим. Подчинение надзирателям, строгий распорядок дня, жизнь по команде — к этому мне не привыкать: восемь лет я жил в казарме суворовского училища, где распорядок был не строгий, а строжайший, дисциплина — жестокая, повиновение старшим в звании — беспрекословное. Поэтому внешняя сторона, т. е. физические и материальные особенности тюремного быта, — это меня не слишком тяготило. Однако, как ни странно, в общем это... как бы выразиться... усугубляло мое положение. Все, что заполняет время обычного человека, заполняет его быт, существование, все, что разнообразит жизнь, делает ее терпимей и привлекательнее — все это в тюрьме сведено до жалкого минимума: подъем,правка, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой. Только это — и каждый день! Чем труднее человеку привыкнуть к такой монотонности быта следственного изолятора, к "ограничениям" режима — тем разнообразнее кажется ему новое,

хотя и бесцветное существование. Для него именно в самом однообразии, в самой бесцветности этой жизни скрыта постоянно некая новизна: новые тяготы и непривычные лишения как бы заполняют время его жизни. Для меня же жизнь по распорядку и постоянные ограничения моей воли были естественны — я почти всю предыдущую жизнь так прожил. И внешнее тюремное существование очень скоро перестал замечать...

Все отошло в мир бессознательный, рефлексивный, и я остался наедине со своей душой, своим внутренним миром. А это — нелегкое сообщество для узника. Мир, оставшийся за стенами тюрьмы, мучил мое воображение соблазнами, радостями, желаниями, отчаянием. Мне казалось, что до ареста у меня имелись несметные сокровища, а я от них отказался. "Да, ты был богат, как Крез Лидийский, чего же ты еще возжелал?" — упрекало меня мое жизнелюбивое "я". "Тебе не хватало всеобщей справедливости, всеобщего блага, свободы, равенства, счастья и т. п. Химеры и абстракции — эти свободы! Нет в природе таких предметов, как свобода и справедливость, это не вкусный, румяный, теплый батон, который ты брал утром в магазине на завтрак, это не раннее, полное надежд утро по дороге в институт, не уютный столик в кафе, не тепло девичьих губ, не лыжная прогулка в Сокольниках, не студенческая шумная аудитория, не объятия здоровой и любящей тебя плоти!"

Эти мысли и образы, порожденные тоскующим воображением, я изгонял, изживал из своего сознания мучительно. Как и чувство жалости к себе и ко всем друзьям, близким моей душе. Спасение приходило в чтении.

В тюрьме мне довелось открыть Марселя Пруста, только там я узнал про творческий метод писателей XX века — "поток сознания". И именно в замкнутом, тесном пространстве, ограниченном четырьмя стенами камеры, "поток сознания" помог мне расширить мое познание внутреннего мира человека, мира духовной жизни.

И Достоевского я открыл, впервые почувствовал тог-

да же — в камере Лефортовской тюрьмы, его обращение к сокровенному в душе. Впрочем, о Достоевском я напишу тебе подробно в другом письме.

Углубление в тайны внутреннего мира человека обозначило самое начало переворота в моем мировоззрении. Как все мои сверстники в Союзе, я до тюрьмы видел вершину человеческой жизни в марксизме, а мудрость — в политэкономической схоластике. В камере же я начал понимать, что подлинного мира, заключенного в душе человеческой, и единственной истинной мудрости — мудрости жизни — не было в марксизме, во всяком случае, в той марксистской литературе, которую нам выдавали за сокровища человеческого духа.

Но об этом подробно — тоже "на потом". А пока вернусь к следствию.

Монотонность жизни прерывалась допросами. Допросы разнообразили быт, вносили в него элементы игры. Они заменяли мне тогда театр, кино, спорт, элементарное человеческое общение. К допросам, как, впрочем, и ко всей тюремной жизни, я относился немного романтически. Напоминаю еще раз, мне было только девятнадцать лет, и, не имея жизненного опыта, я воспринимал мир через призму идеальную, героическо-книжно-романную.

Мое отношение к КГБ, надо признаться, было неопределенное, нечеткое. Мои знания о Комитете состояли из набора стереотипов, усвоенных из кино, из книг биографически-героически-лубочного жанра, в детективах о похождениях Нила Кручинина и майора Пронина<sup>1</sup>, а также из догадок о деяниях ОГПУ-НКВД-МГБ в период культа личности Сталина. Догадки появились после ознакомления с куцыми материалами, разоблачавшими Сталина и Берия, и чтения изданных стенограмм процессов 30-х годов. Поэтому в карательных органах я видел одновременно воплощение извечной тайны, жути, жестокости, беспощадности, изощренного иезуитства, но — соединенное с образом сурового и заботливого отца, охраняющего очаг, отца, который высечет, а потом проч-

тет мораль и отпустит с напутствием быть добродетельным гражданином. Кино, песни и те же книги внушали именно такое представление об общественном отце, герое и защитнике.

Сначала-то я ждал грубости, избияния, а когда увидел, что в КГБ не бьют, то решил, что на меня и моих друзей смотрят как на сынов отечества, впавших в благородное заблуждение.

Кризисом, в котором навсегда погибло это двойственное отношение к Лубянке, стало чтение в камере моего обвинительного заключения.

Обвинилровку принесли в камеру вечером. Я расписался на бланке о вручении и сел читать. Первые же строки обвинения меня ошеломили. Дочитав до середины, почувствовал, что трясусь, как в лихорадке. Я удивился этой трясучке, так как никогда в жизни не испытывал такого состояния, и не мог понять, что со мной происходит. Бросил обвинение на койку сидящего напротив Петьки-”маляра” (“Хрущева на мясо!”).

— Читай, на! — и стал нервно тасоваться<sup>2</sup> от столика к двери: три шага туда, три — обратно...

”...дело по обвинению Мурженко Алексея Григорьевича, рождения 23 ноября 1942 г., уроженца Харьковской области УССР, гор. Лозовая, члена ВЛКСМ, украинца, из рабочих, со средним образованием, холостого, ранее несудимого, инспектора Райфинотдела Ленинградского района г.Москвы, студента 1-го курса Московского финансового института, проживавшего по адресу: г. Москва, Алексеевский студгородок, 1-й проезд, корпус 24, комната 5.

Под стражей с 3 марта 1962 г.

В преступлении, предусмотренном ст.ст. 70, ч. 1 и 72 УК РСФСР<sup>3</sup>.

Материалами предварительного следствия установлено:

что подсудимые Балашов<sup>4</sup> и Мурженко, будучи антисоветски настроенными и несогласными с политикой, проводимой КПСС и Советским правительством, в конце 1961 года



по договоренности между собой создали нелегальную анти-советскую организацию под названием "Союз свободы разума".

При создании организации они ставили своей целью вести борьбу против КПСС и Советского правительства, а также проводимых КПСС и Советским правительством мероприятий, ставили целью создать свою программу и устав, вовлекать в указанную организацию новых членов и проводить антисоветскую деятельность путем проведения антисоветской агитации и распространения листовок антисоветского содержания.

В целях осуществления своих преступных замыслов Балашов и Мурженко вовлекли в преступную организацию в ноябре 1961 г. подсудимого Федорова, а в начале 1962 г. подсудимого Кузьмина. В то же время они, при участии Федорова, в конце 1961 г. приступили к изготовлению антисоветской листовки и сопроводительных писем к ней от имени названного ими "Союза свободы разума", назначив срок распространения ее перед выборами Верховного Совета СССР в 1962 г. ...После составления текста листовки Балашов в феврале 1962 г. взял напрокат пишущую машинку, на которой у себя дома отпечатал текст антисоветской листовки.

Работая фотографом в 5-й типографии Воениздата Министерства Обороны СССР, Балашов, используя служебное положение, в феврале 1962 г. размножил на машине "Ротапринт" текст антисоветской листовки в количестве около 400 штук (экземпляров) и принес их к себе домой. После размножения листовки Балашов и Мурженко вовлекли в созданную ими антисоветскую организацию подсудимого Кузьмина, который принял участие в окончательной отработке текстов сопроводительных антисоветских писем к листовкам. В них сообщалось о создании антисоветской организации в СССР, ее задачах, содержались клеветнические измышления в отношении существующего в СССР строя...

В соответствии с разработанным планом, 22 февраля

1962 г. Балашов, Мурженко, Федоров и Кузьмин распространили более 350 листовок и несколько сопроводительных писем почтой в адреса крупных промышленных предприятий, редакций газет, правительственных учреждений советской страны, и сами непосредственно распространили листовки в высших учебных заведениях г.Москвы.

Каждый из них распространил антисоветских листовок и писем с листовками: Балашов — 60 листовок и 100 конвертов, Мурженко — 20 листовок и 20 конвертов, Федоров — 4 листовки и 20 конвертов и Кузьмин — 30 листовок и 80 конвертов.

Кроме того, в Политехническом музее во время дискуссии Балашов, Мурженко и Федоров направили две листовки в Президиум, а одну листовку Мурженко передал гр. Алексееву. Шесть листовок Мурженко передал гражданке Глазковой и 10 листовок передал гр. Смотрову для распространения в г. Киеве...”

— Рыковы и Тухачевские в сравнении с нами мелкие хулиганы. Мы оказались разбойниками почище Разина и Пугачева. Еще немного провели бы на воле — и рухнула бы советская власть! — сказал я Петьке. Он взглянул на меня удивленно:

— Ты чего зубами-то стучишь?

— А, черт, не знаю. Не страшно, а неожиданно. Я таких слов про себя и представить не мог. Слушай, откуда этот озноб?

А в самом деле, почему меня схватила эта холодная лихорадка?

До чтения обвинительного заключения я по сути дела-то видел себя одним из элементов сложной духовной структуры советского общества и не противопоставлял нас всем ему. Но вот меня выделили, отчуждили, противопоставили, сделали врагом — мои следователи. Они кого-то представляли, они что-то олицетворяли, и этому ”кому-то” я оказался — врагом. Мне предстояло определить, обозначить и познать — кому же я противопоставлен?

Ведь в своих действиях в "подполье" мы исходили из того, что у нас общие цели и стремления с людьми, управляющими обществом, но те люди, властители, часто действуют неправильными методами, часто избирают пути, уводящие их от нашей общей с ними цели — блага простых людей, гуманизации общественных отношений. Мы, как равноправные члены общества, обладающие определенными гражданскими правами и руководствующиеся гражданским долгом и совестью, поднимали свой голос против *злоупотреблений* бесконтрольной властью.

Я знал тогда о себе, что я марксист, я за социалистическое общество, я принимаю социалистическую идею и ее воплощение. И таковы были мы все. Мы только считали, что можем критиковать действия власти, и поскольку мы хотели обратиться к общественной аудитории, а такой возможности нам в СССР никто не дал бы, мы решились печатать листовки нелегально и распространять их по Союзу. Мы, конечно, понимали, что бросаем вызов власти и закону, но при этом считали на самом деле, что действуем в тех же интересах, что и советская власть.

Как, например, в моей голове укладывались эти противоречия?

Очень просто.

Во-первых, я знал, что мои цели благородны, что я желаю всему народу счастья и процветания, и не сомневался, что мои, согласен, незаконные действия предпринимаются на благо общества. Более глубоко реальное, объективное значение своих действий я не осознавал: был ослеплен субъективным намерением — действовать на благо общества.

Во-вторых, люди, стоящие у власти, представлялись мне деятелями, не терпевшими никакой конкуренции, никакой самостоятельности, они не хотят ни с кем делить власть, и сама мысль об этом кажется им святотатственной. Но я-то — равноправный член общества! Однако, осуждая их за *методы* управления (может быть, даже за манеру?), я в то же время думал о целях и характере власти вовсе не как бун-

товщик. Она представлялась мне отеческой: заботливой и доброй. И это — несмотря на знание о культе Сталина и о процессах 1937 — 1938 гг. Так уж, видимо, устроен человек — тем более юный, неопытный: я знал об их злодействах, но думал, что все позади; кроме того, знал далеко не все и не так представлял, как это было на самом деле (о том, каковы были в действительности сталинские репрессии, об их масштабах и характере я узнал позже — в лагере).

Словом, я был советским юношей, стопроцентным продуктом коммунистического воспитания — от головы до пят.

Но что такое советский юноша? Он считает, что жить духовно можно, только руководствуясь марксистско-ленинским мировоззрением, — все остальные мировоззрения есть сплошное заблуждение и хаос мыслей, лепет недоумков и бред сивой кобылы, и для него удивительно, как это им, на Западе, да и на Востоке тоже, удается сводить логические концы с концами без руководства марксистским методом познания и управления жизнью общества. У нас-то все планируется, все предвидится, у нас — абсолютная истина, и все делается по законам точной науки. Конечно, пока есть и несовершенства — трудно работать, жить неудобно. Но когда у кого-то портится настроение — власти тут же исправляют положение, окружают человека своей заботой, осыпают его нужными благодеяниями. Все у нас проникнуто заботой о трудящемся человеке, все опекают его...

В сознании типичного советского юноши — а я именно таким тогда был — существует фантастический образ общества благоденствия, созданный книжными, газетными, радио- и телеклише, которые убеждают, что те, кто стоит у руля власти и определяет форму воплощения социалистических идей, когда-то за мое счастье и счастье всего народа проливали свою кровь и жертвовали своей молодостью, а потом стали отдавать народу все силы в деле созидания и управления им. Чем выше люди по социальной лестнице, тем они озабоченнее, тем аскетичнее их образ жизни и бескорыстней и неутомимей их труд — неустанная забота о тру-

дящемся человеку, который просто трудится, и ему некогда о ком-то заботиться, даже о самом себе. Те, кто наделен властью, относятся к подвластным доброжелательно и альтруистически и используют ее для воспитания (или перевоспитания) любого заблудшего, оступившегося, тунеядца, жертвуя своим благосостоянием.

Повторяю, все эти и многие другие фантазии были сложены из слов и образов, миллион раз слышанных, читаемых, виденных вокруг. Но, конечно, параллельно фантастическому миру жило в сознании и реальное представление — об Истине и ее извращениях, о незаконных репрессиях, о грязи и об убогости культурной и материальной жизни, о принижённости и общественной заброшенности "трудяги-работяги", о неравенстве, сословном эгоизме, взаимном отчуждении и даже презрении друг к другу разных общественных прослоек, иногда стоявших всего лишь на ничтожную долю, на малюсенькую ступеньку выше презираемых по их жизненному и культурному уровню, по социальному положению или просто по занимаемой должности и окладу, а уж тем более — по сфере духовных интересов.

Казалось бы, трезвый жизненный опыт должен был подавлять фантастический мир. Но я наблюдал не только у нас, романтических, зеленых юношей, но и у людей зрелых, что в жизни получается как раз наоборот. В сознании человека нередко доминируют именно идеальные, духовные образы, созданные словом, экраном, вообще искусством и прочим комплексом идеологических средств для обработки масс. Лишь глубоко мыслящий человек, к тому же свободно владеющий словом, способен самостоятельно анализировать реальную жизнь, находящуюся у него перед глазами, и создать образ подлинного мира в слове, оформившем мысль, — абстрактный, идеальный мир, но снятый с конкретного, живого бытия. Мне кажется, что такое под силу только высоко нравственным людям, которые способны отсеять фантастические стереотипы искусства с помощью призмы совести — и тогда возникает реальное знание окружающего нас мира.

Кроме того, "двоемирие" в моем (и всех нас) сознании, то есть параллельное сосуществование фантастической картины с видением реального мира, возникало потому — и это, возможно, самое главное, — что мне, как и всем остальным, была доступна лишь одна, марксистско-ленинская интерпретация окружающей нас жизни. Кроме марксистской литературы, я не встречал в читальных залах и книжных магазинах какой-либо другой и не мог узнать что-либо о мире, распростершемся за пределами моей страны, из каких-либо других источников, кроме официальных, клеймящих капитализм, рисующих нищету, развал экономики и духовную гибель всего зарубежья. Поэтому мыслить абстрактно, критически я мог, только усвоив марксистско-ленинскую терминологию, марксистское мировоззрение.

Разумом я не мог не заметить, говоря по-ленински, "кричащих противоречий" нашей жизни, но интерпретировать их я оказался способен только в пределах этого марксистского взгляда на жизнь. В своем критическом отношении к "ложной действительности" я апеллировал лишь к "истинному марксизму".

Выводя себе сегодня итоговую оценку, могу сказать, что субъективно я не осознавал себя врагом советского строя и марксистско-ленинской идеи, социалистического общества. Но, с другой стороны, я требовал для этого, социалистического общества с марксистскими идеями, расширения политических и гражданских свобод, ликвидации тоталитарных принципов в основании общества, свободы печати и вообще критической мысли, что конечно же было несовместимо с легальными нормами советского общества, с лояльностью к нему. Но я был знаком с Гегелем, с его идеей развития через противоречие, и не делал исключения из этого всеобщего закона мирового развития и для советского общества. Мое видение жизни, какое бы оно ни было, считал я, по степени искренности и зрелости имеет право быть высказанным, а моя деятельность допустима с точки зрения общественного блага — даже если то и другое не вызывает

положительной оценки у людей, имеющих власть и управляющих Советским Союзом.

Все это длинное объяснение понадобилось мне здесь для того, чтобы стало понятно, почему чтение обвинительного заключения в камере потрясло меня до холодной лихорадки и стало переломным моментом в моей жизни. В этом "документе" меня (и Вика, и Юру Федорова, и Кузьмина) шельмовали как заклятого врага, вступившего в борьбу с советской властью не на жизнь, а на смерть, стремившегося подорвать общественный и государственный строй СССР, ликвидировать ЦК, жаждущего разрушить и уничтожить все народные завоевания. В один час обвинение разрушило фантастический мир, и я узрел, где я живу. Читая обвинительное заключение, я увидел не себя, не нас всех со стороны, глазами других людей, но узнал наконец тех, с кем я недавно стал иметь дело, кого я до сих пор не знал и на чей счет еще питал иллюзии.

Здесь мне кажется уместным рассказать, что же на самом деле произошло с нашей маленькой группой, как это виделось тогда и до сих пор видится мне — изнутри.

Итак, мы развивались с детства, как тысячи и миллионы таких же советских ребят: читали те же книги, смотрели те же фильмы, знакомились с теми же газетами и радиосообщениями, взрослые наши учителя говорили нам те же слова о родине, о социализме, о советской власти, о долге перед... о нашем счастливом настоящем и будущем. Но мы четверо, плюс еще незначительное количество наших единомышленников, увидели окружающий мир и наше положение в нем по-своему. Наши мысли оказались не только непохожими на общепринятые, но противоречили всему, что мы слышали и читали. Это нас настолько ошеломило, что мы не решились назвать собственные мысли своими, а отождествили их с "подлинным социализмом", данным обществу Марксом и Энгельсом. Мы искренне считали себя наследниками истинного, гуманного, чистого марксизма.

Наша группа возникла спонтанно. Мы не имели никаких

связей с другими группами, настроенными оппозиционно, ни внутри страны, ни с кем-либо извне. Мы также не слушали зарубежные "голоса". Более того, мы не знали, что в нашей стране кто-либо выступал с острой критикой из подполья, думали, что вообще никто этого не делает — из страха или из-за отсутствия достаточно сильного морального побуждения к действию. Мы думали, что поднимаем свой голос первыми — или же одними из первых.

Это ощущение себя пионерами, зачинателями, героями, возможно, помогло преодолеть страх перед репрессиями, однако оно же было источником наших постоянных сомнений: правы мы или нет, имеет ли содеянное нами смысл?

Я не собираюсь здесь скрывать сомнений своих и всех тех, кого я знал. Сомнения присущи всем людям, идущим дорогой первопроходцев. Мы и те, кого я встретил потом, в лагере, действовали из нравственного представления о том, что обязан делать честный человек, обнаружив, что практика строительства советского общества не соответствует теории социализма, что идеалы, начертанные на знаменах и ежедневно пропечатываемые в передовицах, не только не воплощаются в жизнь полностью, но вообще не имеют ничего общего с реальными буднями народа. По нашим тогдашним представлениям, каждый человек должен был прежде всего думать об общем благе. И поскольку благом считалось построение социалистического общества, каждый был обязан заботиться о том, чтобы общество строилось действительно социалистическое, развивалось в направлении идеалов и в согласии с теорией научного социализма.

Наверное, со стороны кажется, что такое абстрактное представление не может стать живым и непосредственным руководством к конструктивной деятельности. Но в юные годы голые идеи принимаются как самое подлинное бытие мира и людей. Мы, начитавшись Маркса, Энгельса и Ленина, создали свое абстрактное представление о социализме и приняли его за живой реальный идеал. Но бытие социалистического общества, в котором наша группа существовала, оказа-



лось обыкновенным — жизнь была в чем-то лучше, чем при Рамзесе номер такой-то, а в чем-то, наверное, хуже. Но мы не могли с этим смириться: раз общество называется социалистическим, значит, оно должно жить так, как его вымечтали великие футурологи — Маркс и Ленин.

Необычайно усилила контраст между реальными и декларируемыми принципами и сразу подтолкнула нас к организации и деятельности группы программа КПСС, которая была опубликована летом и принята партийным съездом осенью 1961 года: в ней через десять лет народу обещали построить полукommунизм, а через двадцать лет завершить строительство "материально-технической базы коммунизма". Хрущев говорил: "Партия торжественно обещает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" — утопия, очевидная любому идиоту. Хрущев блефовал, а все это видели и единодушно одобряли блеф. Это раздражало и возмущало нас. Но что делать? Все окружающие молчат или одобряют. Может, правы они, а не мы?

Пресса, радио, журналы, книги, участники собраний, как торжественных, так и неторжественных, — все клянутся, что верят в это "царствие небесное", сошедшее на Землю. Как же в такой обстановке не сомневаться? Конечно, мы разговаривали с людьми из своей среды, с друзьями — студентами, курсантами, рабочими, но, как известно, знакомые и друзья подбираются по сходству взглядов на жизнь. Поэтому, уже когда "Манифест" организации был изготовлен, мы решили до распространения дать его для ознакомления студентам различных вузов и рабочим и, только выслушав их мнения, только взвесив их возражения, приступить или наоборот не приступить к действию — распространению "Манифеста" по СССР.

В обвинительном заключении эти наши попытки выяснить истину для самих себя и понять, правы мы или нет, квалифицировались следующим образом.

"Балашов и Мурженко признали себя виновными в изготовлении антисоветских листовок и сопроводительных

писем, а также в распространении их, но эти действия они не считают преступными...”

(Здесь не могу не остановиться, чтобы не откомментировать логику следствия: мы признали себя *виновными* в совершении действий, которые *не считаем преступными!*)

”...Балашов, Мурженко, Федоров и Кузьмин подробно рассказали, как ими была создана антисоветская организация и какую работу они в ней проводили.

Беженцев показал, что Балашов и Мурженко в феврале 1962 г. давали ему читать антисоветскую листовку.

Глазкова подтвердила, что в феврале 1962 г. Мурженко передал ей шесть антисоветских листовок и просил ознакомиться с ними студентов.

Кондратенко подтвердил, что Мурженко 6 февраля 1962 г. давал ему читать антисоветскую листовку.

Бугай показала, что она присутствовала на квартире у Балашова при обсуждении текстов сопроводительных писем к листовкам, в котором принимали участие Балашов, Мурженко, Федоров и Кузьмин...” и так далее.

Нигде, ни одним словом не упомянуто, что все эти ”антисоветские действия” сводились к обсуждению с друзьями: правы мы или нет? Следует нам распространять эту листовку или стоит оставить в покое незрелое произведение нашего ума?

Заостряя внимание на сомнениях в объективной, так сказать, истине я не хочу уверять, что у нас не было сомнений личных, субъективных (или — ”субъектных”), проще сказать — страха тюрьмы.

Страх был, но какой-то ирреальный: мы жили с иллюзорными надеждами, что если нас все-таки арестуют, то, выслушав, укажут на ошибки и, если мы согласимся их признать и исправить и впредь не допускать, то нас — отпустят! Настолько мы были наивны, настолько плохо осведомлены о функциях карательной машины! Правда, это видение мерещилось где-то в самых потаенных уголках души,

заглушая опять же иррациональный страх наказания, — мы, люди, большие фантасты и обожаем самообман.

Да, страх тюрьмы был, но куда острее давило одиночество неизведанного пути, проблема практического смысла, реальной пользы для общества и весомости дела, на которое нас толкнули наше обостренное нравственное чувство и жажда героического, жертвенного подвига во имя высокой справедливости. Незнание пути и одиночество на избранной дороге льстили самолюбию юношеских душ, но одновременно это же одиночество и окружающая пустота вызывали чувство обреченности, обреченности неволе и забвению, и заставляли сомневаться в самом смысле дела.

Особенно остро сомнения терзали меня в тюрьме. Как бы читая мои мысли, как бы ощущая самую уязвимую мою точку, один из авторов обвинительного заключения мой следователь Иванов дружески меня увещевал на допросах:

— Ну что, Алексей, ты что, лучше всех, умнее всех, или больше всех знаешь? Все живут себе потихоньку, и ты бы вот учился. Или занимался спортом...

И единственный раз, когда нам в Лефортово удалось перекинуться с Виктором Балашовым словечками и ксивами<sup>5</sup>, в тот раз мы говорили о том же: правы мы или нет. Дать на суде бой или признать свою несостоятельность? Выступить как Дон-Кихоты или же признать нереальность, бессмысленность и обреченность оппозиционной подпольной борьбы?

Виктор тогда называл нас революционерами и был настроен экстремистски, я же выражал сомнение в целесообразности принимать позу "полководцев без армии" и "метать бисер перед свиньями — да не попрут его ногами", как сказано в Библии. Довести ту полемику до конца нам не удалось: менты<sup>6</sup> засекли, нагрянули в прогулочные дворики и увели в камеры, а через некоторое время мы впервые познакомились и с карцером.

Обвинительное заключение по моему делу 1962 года впервые дало мне реальное представление о наших против-

никах: эти люди, понял я, не потерпят никакой самостоятельности. Возжелай ты принести себя им в жертву публично, на площади, с криком, вроде: "Да здравствует наше светлое будущее!" — тебя зачислят во враги народа, так как ты приносишь эту жертву без санкции властей. Они должны рассматривать нас, сторонников истинного социализма, всего лишь как конкурентов. Конкурентная борьба требует жестоких методов, мягкие в ней погибают, об этом пишут в книгах по политэкономии капитализма и в популярных брошюрках для тупоголовых... Я стал убеждаться, что это положение верно не только для капитализма. Впрочем, понимание истинной ситуации созревало медленно, сознание долго цеплялось за усвоенные с детства иллюзии и не хотело расставаться с ними — во всяком случае, пока не обрело новых. А новое видение мира (и человека в нем) могло прийти только со временем — в трудном духовном и жизненном поиске.

Следующей ступенькой на этой дороге стал суд.

## Глава четвертая

*Продолжение письма, написанного в июне 1970 года.*

Обвинительное заключение ошеломило, но потом я освоился с фразами о "подрыве советского строя", "свержении власти", "ликвидации ЦК", "попытке внести раскол в международное коммунистическое движение" (следователи имели в виду наше письменное обращение к компартиям Европы) и т. д. И как-то появилась мысль, что все-таки все кончится "полюбовно": они поймут, что на самом деле мы — "хорошие", и, припугнув, отпустят. Вспоминаю дикую мысль об этом "отпустят", мелькнувшую, когда меня привезли в институт Сербского<sup>1</sup> на психиатрическую экспертизу. Я не знал, куда везут, а забрали из тюрьмы на этап "с вещами" — ну и подумал, что раз до суда и "с вещами" — значит, на свободу. Куда же еще? Эта мысль приобрела форму "реальной фантазии" в минуты длительного ожидания черт знает чего в незнакомом здании, в каком-то кабинете, вместе с таинственно молчащим надзирателем. И вот тогда я вдруг ясно увидел, как входит в комнату член ЦК — солидный, с брюшком, важный, отечески-лукаво улыбающийся: "Ну что, Алексей, разбойник ты этакий, хотел нас ликвидировать? А? Это за что же ты на нас так сердит, а? Зря, зря, брат! Мы ведь о вас заботимся, о вашем благе: не досыпаем, не доедаем (как в кино! — мелькнуло в голове), а ты — ликвидировать!". Я чувствую, как мне становится жарко, заливаюсь краской от смущения и хочу уже залепетать, что вовсе никого не хотел "ликвидировать", тут следователь приврал немножко, но он уже похлопывает меня по плечу и говорит: "Знаю, знаю, что ведь тоже из благородных побуж-

дений на нас рожком пер. Это бывает. Добрыми намерениями, брат, дорога в ад вымощена, хэ-хэ. Но так и быть: на первый раз мы тебя от этого ада избавим. Иди и помни: добрыми намерениями вымощена дорога в ад. В следующий раз свои добрые намерения неси к нам. Мы решим, что с ними делать. Ну, вставай, вставай...”

Это говорил мне надзиратель, толкая меня в плечо: я задремал за длинным столом, накрытым красной полотняной скатертью. Возле надзирателя стояла женщина в белом халате. После члена ЦК из моего сна она показалась неуместным белым привидением, и я удивленно выкатил на нее глазные яблоки. Но она совершенно естественно позвала: ”Здравствуйте, пойдемте со мной”. Все еще не понимая, что происходит, я покорно поплелся за ней, сопровождаемый надзирателем... Она привела нас в маленький кабинет. Тут нас ждали мой следователь и двое мужчин в белых халатах.

Тут все стало понятным: профессор Лунц<sup>2</sup> и его коллеги, согласно закону, проведут медицинское освидетельствование моего психического состояния.

Мы полчаса соревновались с Лунцем в детской наивности и идиотизме, после чего он и другие члены комиссии сочли меня ”находящимся в состоянии нормы”. Далее — погрузка в ”воронок” и прежняя камера в Лефортово. Так что ко времени суда у меня уже иллюзий было значительно меньше, но, признаюсь, надежда на какой-то чудесный исход или ”гуманный подход” еще жила. Так, видимо, устроен человек, что он допускает возможность чудес, если они питают его жажду жизни, свободы, счастья.

С каким чувством обвиняемый едет на суд? Это зависит от того, каков он, что там его ждет. Ну и, конечно, смотря какой у него характер. Но что бы и как бы подсудимый ни рассчитывал, суд для него — после месяцев или лет предварительного заключения в тюрьме — всегда зрелище, спектакль и... надежда. И, кроме того, завершая томительные дни следствия, когда заключенный пробует угадать свою участь, —

суд одновременно какое-то "избавление". Потому и бывает, что на суде вроде бы расчетливый по характеру человек вдруг теряет терпение и бросается напролом. Впрочем, это касается уголовных процессов, а не политических. Ибо если политзэк имеет хоть какой-то опыт и хоть микроскопические знания в отечественной юриспруденции, он уверен, что суд ничего не решает, ни от чего не избавляет и означает лишь завершение определенного цикла юридических процедур, начавшихся арестом и подводящих к лагерю. Никого еще из нас суд не оправдал, и даже по уголовным делам, когда выясняется ложность, необоснованность обвинения, суд избегает оправдательного приговора. Очевидно, это делается из престижных соображений: суд считает, что тем самым он укрепляет авторитет следственных органов (и свой тоже) в глазах населения...

Адвокатов у нас не было. От адвокатов мы отказались еще во время подписания следственного дела (согласно статье 206 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). "Подумайте о своей матери, Мурженко, — увещевали меня, — она была у меня, плакала, просила, чтоб вы не отказывались от адвоката"<sup>3</sup>. — "Адвокаты не берутся защищать меня, доказывая мою невиновность, — возражал я, — поэтому лучшего адвоката, чем я сам, в этом деле мне не найти. Если суд думает судить нас, стоя на позициях истины и правосудия, ему не нужно красноречивого адвоката, а факты и мотивы моих действий мне известны лучше, чем адвокату, и я их смогу изложить сам".

Дело № 28/62 л

## ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

20 июля 1962 г.

г. Москва.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Климова,

народных заседателей Бычкова и Герасимова  
с участием прокурора Молочкова,  
рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению...

Судья был старый выцветший мужик с грязно-серыми жидкими волосами, сквозь которые просвечивали лишай на старческой коже, и с ефрейторскими складками на лишенном растительности лице. Уже в лагере я прочитал в журнале "Советская юстиция", что это был знаменитый в истории советской юстиции первый судья из рабочих. Допрашивая свидетелей, он читал им мораль, ибо почти все свидетели были студенты (к моменту начала процесса уже исключенные из университетов и институтов), курсанты военных училищ (тоже, разумеется, бывшие), молодые служащие и молодые рабочие. У одной девушки он допытывался, любила ли она подсудимого такого-то, и когда она сказала, что любила, судья, пожевав губами, спросил: "А он вас?" Девушка ответила, что не знает, и старик в лишаях рассердился: "Так что же, вы сожительствовали или нет?" Девушка покраснела и залепетала, что она не поняла товарища судью, она думала, он спрашивает про ее чувства... "Чувства? — проговорил судья. — Вы помогли ему печатать письма антисоветского содержания в государственные и партийные учреждения, письма видным деятелям науки, искусства и государства! Вы знаете, что за это полагается по суду?.. Чувства! Вас исключили из университета? Исключили. Вот вам и чувства. Правильно сделали!"

Прокурор был маленький, тощий, одновременно и бледный, и желтый человек. Его явно что-то внутри мучило — или язва, или печень. На его болезненном желчном личике застыла горько-презрительная гримаса. Эту мину-маску он не снимал ни на секунду, и я склонен думать, что он родился с таким прокурорским лицом. Помню, когда глядел на него, мозг постоянно сверлила фраза из книги Экклезиаста: "Пришло то время на земле: и люди уже не рождаются в ру-



башках”... Он нас ненавидел, и не только по долгу службы — видно было, что и ”самодеятельно”, по природной злобности души.

Всем нам было около двадцати лет. Мы выглядели здоровыми, жизнерадостными, держались свободно и смело, с чувством собственной правоты. А он, чудилось мне, был обижен на свою судьбу и на весь мир впридачу — с самого детства. Кого он в нас видел? Только не нас подлинных. Проанализировал ли содержание главного документа, инкриминировавшегося нам, — ”Манифеста”? И не думал. Или оказался неспособен? К чему эта фиктивная аналогия между ”Манифестом” и троцкистско-бухаринской платформой? Хотя о Троцком мы слышали, конечно, но ни с одной из его многочисленных платформ знакомы не были. Мотивы действий он нам приписывал, годные только для фарцовщиков<sup>4</sup>. Он и называл нас ”стилягами”<sup>5</sup> и ”тунеядцами”. Это они обивают пороги ”интуристов”<sup>6</sup>, клянча поношенные носки и рубашки с иностранным клеймом! Это они танцуют буги-вуги и мечтают о капиталистическом рае! Это они слушают ”голоса” дядюшек Сэмов и готовятся к измене родины. Таков был продукт усилий цицероновско-вышинского красноречия прокурора Молочкова — но, увы, все это не имело ни малейшего касательства не только к нашему образу жизни, но даже к фактам следственного дела, подготовленного для него в КГБ.

Мы не были ни стильягами, ни тунеядцами. Мы не были знакомы ни с одним иностранцем, и мы не слушали ”голоса” (об этом мы и говорили прокурору в защитительных речах). Породили нас не ”голоса” и не Троцкий, а самостоятельное видение окружающей действительности и критическое к ней отношение. Впрочем, объективно прокурору можно было сочувствовать, ибо он находился в затруднительном положении. С одной стороны, ему нужно было показать наше полное моральное и интеллектуальное и общественное ничтожество; с другой же — требовалось представить нас крупными нелегальными деятелями, чтобы обосновать свое

требование жестокого наказания. Плюс — он хотел одновременно прославить идейную преданность советским идеалам со стороны остальной советской молодежи и еще — восхвалить гуманность советского правосудия. Но "преданность" молодежи идеалам плохо вязалась с показаниями молодых свидетелей в зале суда, а гуманность странно смотрелась, когда фоном ее было максимально возможное по закону и даже превосходившее законные рамки требование жесточайшей кары. Поэтому речь его была соткана из противоречий: то он заявлял, что мы опытные, далеко вперед планировавшие свои деяния преступники; то мы оказывались "заблудившимися баранами"; то он называл наш "Манифест" платформой для развернутого наступления на социализм, то саркастически называл нас самоучками, занимавшимися бессмысленным словоблудием.

— У них не было никаких оснований клеветать на нашу советскую действительность, прекрасную советскую действительность, — блистал он фигурами красноречия. — Чем они недовольны? Тем, что у нас нет безработицы? Они недовольны тем, что у нас нет нищих? Они недовольны тем, товарищи, — тут прокурор саркастически, но и как-то торжественно усмехнулся, — они, наверное, недовольны тем, что у нас нет золотых писсуаров и унитазов, но, заверяю вас, что они будут в нашем счастливом обществе! Ибо если бы они читали нашего учителя и вождя Владимира Ильича Ленина, а не слушали бы голоса дядюшки Сэма, они знали бы, что Владимир Ильич Ленин сказал: придет время, когда пролетариату, скинувшему оковы капитала, не нужен будет "желтый дьявол", средство эксплуатации — золото, и он, пролетариат, будет делать из золота себе писсуары и унитазы!

Прокурор хотел убить нас своими сарказмами: "Пришлите к этим молодым людям, восседающим на скамье подсудимых! Разве вы не видите птенцовую желтизну у них вокруг клювов, разве вы не чувствуете запах материнского молока на их необсохших губах! И теперь заглянем в их так называемый "Манифест", пробежим глазами их письма на-

шим ответственным, великим и достойным деятелям партии, науки и искусства и — самому товарищу Хрущеву. Да-да, они осмелились писать самому товарищу Хрущеву! Что же мы видим? Я не мистик, товарищ судья, но тут я должен сказать: дух троцкистско-бухаринских идей вселился в этих людей! Я не мистик, но помню гениальное изречение о духе истории великого ученого, основоположника научного коммунизма Карла Маркса: "Дух истории витает над нами — дух научного коммунизма". Но если партия воплощает дух научного коммунизма, то Троцкий и Бухарин пытались воплотить свой дух — дух контрреволюционного троцкизма. Мы разбили троцкизм, но, товарищи, мы рано успокоились. Вот укоризна нашему прекраснодушью, вот грозное предупреждение нашей маниловщине: эти антисоветчики воскресили дух Троцкого. Сегодня, как и тридцать лет назад, мы говорим: "Платформа оппортунизма не пройдет!" Они отрицают свой троцкизм и говорят, что скорее согласны называться неомарксистами. Мы на это походя отвечаем: "Хрен редьки не слаще!" Они упорствуют: они-де читали нашего Маркса и нашего Ленина, и они-де изучили их. Но, товарищ судья, у народа на этот счет есть народная мудрость, и она нам подсказывает: "Смотрю в книгу, а вижу фигу!" Да, эти молодые люди увидели у Маркса и Ленина фигу. И не только там они увидели фигу. Но мы покажем им здесь фигу нашего пролетарского единства, фигу нашей сплоченности вокруг партии. Мы покажем фигу империализму и его троцкистско-бухаринским пособникам!"

В заключение наш эрудит, наш идол партийной ортодоксии сказал: "Товарищ судья! Советская власть каленым железом выжигает язвы на своем здоровом общественном теле. А перед вами — родимое пятно, бородавка на этом теле, мечтающая превратиться в меланому, раковую опухоль. Мы знаем, какая опасность грозит телу, если не совершить своевременного хирургического вмешательства. А тут необходимо хирургическое вмешательство, ибо время подавления злокачественной опухоли радиоактивным излучением

— время перевоспитания их нашими идеями — упущено. Революционная суровость — вот наш ответ злокачественным опухолям. В духе высших гуманных традиций советского правосудия я требую всем максимальной меры наказания по данной статье закона — семи лет заключения с содержанием в исправительно-трудовых лагерях особого режима, принимая во внимание майский указ сего года о борьбе с особо опасными государственными преступниками и нарушителями общественного порядка. Советское правосудие — самое гуманное в мире!”

Гуманный прокурор, конечно, знал, что требует для нас противозаконную меру наказания, противозаконную даже по советским правовым нормам — ибо поместить в лагерь *особого* режима можно только тех, кому расстрел заменили по постановлению Президиума Верховного Совета 15-летним заключением, или же ”повторников” — рецидивистов. Мы же не относились ни к той, ни к другой категории — и все-таки он *публично* потребовал для нас наказание — несомненно *противозаконное*. Зачем?

Вообще-то, говоря откровенно, его красноречие меня забавляло: я никак не мог понять, зачем он так старается, кого пробует убедить. Суд был закрытым — так что не для публики он старался. Судью? Но тогда красноречие тратилось зря — судью не надо было уговаривать и обрабатывать в духе суровости, тот был опытный волк и съел зубы на этом деле.

Но сделаем скидку на красноречие прокурора и спросим всерьез: понимал ли он нас вообще-то? Нет, не понимал: жизненный опыт конформиста не мог дать ему нравственно-психологический ключ к анализу мотивов наших действий, а интеллектуальный кругозор, рабское его мышление не могли подняться до уровня свободного анализа текстов как ”Манифеста”, так и сопроводительных писем. Поэтому, видимо, пленник идеологических догм, он так стремился уловить схожесть отдельных наших положений с уже известными ему ”заклейменными антисоветскими платформами”.

Его возмущало, что мы, зеленые юнцы, свободно и спокойно оперируем теми догмами, перед которыми он слепо благоговел. Он мог бы понять безграмотную ругань пьяного пролетария, возмущенного отсутствием мяса в магазинах, или озлобленность детей раскулаченного или репрессированного отца и т. п., но не мог примириться с тем, как можно, не имея никаких личных счетов с советской властью, сочинять какие-то манифесты, зная о неминуемом жестоком наказании. Только этим я объясняю, что в своей речи прокурор выдвинул тезис, что мы мечтаем о захвате власти в своих корыстно-честолюбивых интересах.

— Чего же они хотели?! — спрашивал он риторически. — Они хотели захватить власть и закабалить пролетариат, они мечтали о господстве богатства и монополистических наслаждениях.

Но мы не обладали ни буйной фантазией прокурора, ни его прагматическим подходом к идеологическим проблемам. Мы также не были ни безумными, ни наивными и часто спрашивали самих себя: "Что нами движет? Что наша деятельность даст? Что это изменит? Не безумие ли это?" И лишь в мгновения озарений мы ощущали, что нами движет некая высшая нравственная сила, заложенная в человеке. Силе этой не может противостоять даже самая мощная воля, которая подчиняет все в человеке, — воля к жизни, к самосохранению. И мы покорялись этой нравственной силе, диктовавшей нам самоубийственные поступки.

Судья и прокурор удивлялись "безнравственности" наших свидетелей. Почти всем они задавали вопрос: "Почему вы не донесли, поняв, что листовка антисоветская?" И все, уже бывшие студенты и курсанты, отвечали: политикой они не интересуются, и не знали, какая листовка — советская или антисоветская, и что они — не из ябедников. Если бы прокурор и судья знали, что на самом деле говорили нам студенты, они упрекали бы их отнюдь не только за недоносительство. Ибо все до единого говорили, что написано, конечно, правильно, что они могут дать почитать другим, но



о сне, который я видел уже на этапе в лагерь. Говорят, что суд должен устрашить, исправить и перевоспитать преступника. Сон, порожденный моим подсознанием, глубинными слоями мозга, расскажет лучше публицистических рассуждений, как именно я воспринял тогда уроки своего суда.

Помню: брожу среди каменного города. Одинок и тоскливо. Выхожу на какое-то плоское возвышение — окраину города. Впереди, в голем пространстве, — пустынная земля. Меня охватывают беспокойство и тревога. Я боюсь упасть с этого возвышения, ибо оно над пропастью: снизу пустота, сзади — какой-то пугающий остров. Я пытаюсь повернуть назад, и тут слышится как бы внутренний голос — но это не мой голос: "Смотри, эта безжизненная пустыня усеяна костями тех, кто восстал против Дракона". И тут же я вижу, что пустыня бела от усеявших ее черепов и костей. Меня охватывают страх и отвращение, но что-то приковывает к месту, не могу бежать. Тут темнеет небо, я поднимаю голову и вижу, что солнце закрыла крыльями огромная черная птица. "Вот что ждало меня на этой одинокой вершине", — мелькает в мозгу мысль — и тут же птица налетает на меня, бьет клювом в грудь, и я проваливаюсь в смерть. Именно это в голове: "Вот и смерть". Я погибаю в той пустыне, я это знаю, а вокруг все живое, и все живет. И вдруг вижу впереди себя далекое сияние, я стремлюсь к нему, и оно становится престолом Бога. Я вижу лишь свет от него, но в душе знаю, что это — престол Бога. По обе стороны престола — много людей. Чьи-то лица, они колышатся, толкутся, они напоминают пшеничное поле под легким ветром. Я знаю — эти лица мне знакомы, я не узнаю в них черты каких-то виденных мною людей, но чувствую, что они всегда были мне знакомы, только сейчас их черты искажены до неузнаваемости. Мне нужно что-то решать, я мучительно думаю, что же я должен делать сейчас. Обращаюсь к престолу и вижу — все ту же огромную черную птицу с раскинутыми крыльями, и в их тени различаю три странных существа, сидящих за столом. На столе свалены какие-

то металлические ржавые инструменты. ”Ты снова к нам пожаловал?” — каркает черная птица. А три существа — теперь они похожи на маленьких человечков, укоризненно качают головами. Меня охватывает страх. И внезапно я схватываю смысл птичьего ”снова”. ”Почему — снова? Неужели я здесь был? Ведь это суд. Но я ведь только сейчас был судим первый раз”. Я всматриваюсь в черную птицу и вижу у нее три головы моих судей. Но у них другие лица. Они покрыты какой-то зеленоватой чешуей... Лица сплющиваются, рты растягиваются, открываются и внезапно выдыхают на меня из трех ртов едкие струи дыма. Дохнуло от дыма не только смрадом, но и холодом! Хочу бежать, но отнялись ноги. Смрад и дым постепенно рассеиваются, и я снова вижу три змеиные головы. От взгляда в эти лица меня охватывает сильный озноб, чувствую, как ледящийся страх подбирается к сердцу. Головы трехглавой птицы приближаются ко мне, что-то беззвучно шепча кровавыми губами. Меня охватывает ужас, и внезапно приходит осознание единственного избавления. Закрываю глаза, делаю отчаянный рывок и бросаюсь на трехглавого Дракона-Птицу... что-то, какие-то тиски, сдавливающие меня, разрываются, и я чувствую облегчение, освобождение. Мне легко дышать.

Я понимаю, что — проснулся.



## Глава пятая

*Из письма 1970 года.*

Колесят "столыпины" по широкой земле, в которой роют котлован<sup>1</sup> для нового алюминиевого общежития всеобщего счастья.

Что такое "столыпины"? Это специальные вагоны для перевозки заключенных. Они прицепляются в самый хвост обычных пассажирских составов. По внешнему виду они отличаются от прочих вагонов лишь решетками на окнах. Если не всматриваться внимательно, то снаружи их легко спутать с почтовыми вагонами. Главное отличие — почтовые вагоны обычно бывают в начале или середине состава, а "столыпины", как я уже писал, в конце. Но никто особо и не присматривается, кроме нас, познавших мир неволи. Мы, стоя на перроне, обязательно скользнем взглядом вдоль состава в хвост. И о чем бы ни думали до этого мгновения, но, увидев сызнова зарешеченные окна и краснопогонников<sup>2</sup>, мы уже ни о чем другом не можем думать, кроме как о тех, кто — ТАМ.

Мерно стучат колеса "столыпина": поезд Москва — Свердловск несет тысячи человек через города и станции, и каждый — это маленькая вселенная. Тысячи вселенных сидят в тринадцати вагонах, глядя друг на друга сонными глазами, кивая друг другу головами в такт вагонам. И среди них, в самом хвосте поезда, — несколько сот заключенных...

Вечером девятого сентября 1962 года меня вызвали во двор тюрьмы, посадили в "воронок"<sup>3</sup> и куда-то повезли... Сначала машина заехала в Краснопресненскую тюрьму, там в нее посадили нескольких женщин, а потом она покати-

ла на Казанский вокзал — к поезду Москва — Свердловск. Там, в хвосте состава, как обычно, я и увидел впервые "стольпин".

Меня посадили в "тройник"<sup>4</sup>. Сижу на нижней полке, смотрю сквозь плетеную железную дверную решетку купе в окно, находящееся на противоположной стороне вагона: та сторона, на которой наши камеры, — глухая, здесь окон нет. Увы, и на противоположной стороне ничего не видно: нижняя часть окна закрашена, матовая, в верхней же части сияет лишь слабый рассеянный мрак летнего вечера. Мне сейчас хорошо, и легкий отблеск вверху окна навеивает на меня романтическое оцепенение. Полгода, изо дня в день, созерцал я стены следственной тюрьмы, на фоне которых мелькали скучные, приевшиеся лица сокамерников, надзирателей, лишь иногда разнообразимые лицом следователя. Зато сейчас я стараюсь в полной мере насладиться переменной обстановки. Впервые за много месяцев вижу массу людей — нет, не верно, я не вижу их, они за стенками камеры-"тройника", но само их присутствие рядом создает впечатление наполненности мира и нормального ритма жизни — хотя я понимаю, что это на самом деле не жизнь, а ее агония. Сознание мое как бы оцепенело от новой обстановки, и только в глубине пульсирует мысль: хочется понять, почему эти люди вокруг меня явно воспринимают условия неволи как естественные для их жизни. Что это у них? Реакция психической самозащиты или притушенность чувств?

...Купе-клетки гудят. Знакомства, разговоры, смех. Крики конвойных: "Не курить!", "Не шуметь!", в ответ добродушная ругань. Бренчит гитара... Впрочем, почему это я решил, что все тут воспринимают свое поведение как естественное? Просто эски рады, что кончились дни тюрьмы, следствия, суда, ожидания этапа, и загоняют страх, отчаяние, муку и тоску в подвалы сознания...

Мое оцепенение прерывает конвойный — сует мне через решетку свернутый трубочкой листок бумаги. Я удивляюсь, но беру — молча, разумеется. Разворачиваю, читаю. Ага, со

мною желает познакомиться Марина из Москвы: напоминаю ей мальчика, которого она любила. Мальчик трагически умер. Вспоминаю, что в "воронке" женщины расспрашивали конвойного, кто там сидит в отдельном боксике-"стакане", и тот отвечал, что, мол, политический, не то что вы, дуры. А когда нас высадили из "воронка" и выстроили перед посадкой в вагонзак (так официально именуют "стольшин"), они стреляли в меня глазами.

— Вот они, женщины, у них одно на уме — любовь! — изумленно размышляю над запиской Марины. — Какая тут, в заключении, может быть любовь?

Но Марина не угомонила и, не получив ответа от меня, снова прислала солдата с запиской.

— Напиши ей ответ. Просит, — советует солдат. — Я пойду к ее камере, отдам.

Понимаю всю бессмысленность обмена любовными записками, но на обороте ее послания все же пишу: "Марина, не разбивай семью. У меня дома жена и трое маленьких детей". И отдаю солдату.

Через несколько минут слышу звон ключей, грохот отпираемых или запираемых дверей, возню, какие-то разговоры, и ко мне, к моему "тройнику", подвели суховатого и смуглого ээка в спортивном костюме и с тощим узелком в руке. Итак, конец моему одиночеству, но я уже успел насладиться его прелестями и отнюдь не расстраиваюсь.

Новый сосед по купе — иранец. Он рассказывает, что его отец, коммунист, после заварухи в Иране<sup>5</sup> бежал в советский Азербайджан. В Союзе он во многом разочаровался и решил вернуться обратно в Иран, но — не тут-то было... Отец стал ругать всех подряд, в том числе и Сталина, и его, разумеется, посадили. Оставшись без кормильца, семья еле-еле сводила концы с концами. Мать, отчаявшись, решила идти в Иран пешком, через горы, нелегально. У границы их взяли. Его, пятнадцатилетнего, поместили в детский дом, и где мать — он до сих пор не знает. Несколько раз сбегал из детдома, его ловили и возвращали. Однажды он, будучи

в побеге, залез в магазин: хотелось есть. Его поймали и посадили в "малолетку"<sup>6</sup>, и с тех пор он не вылезает из тюрем и лагерей. Он — человек "без гражданства", гражданства нет никакого, потому что иранское потерял, а принимать советское отказывается: "Мой отец погиб в здешних лагерях, и я не буду гражданином Советов, которые сгноили в лагере моего отца".

— Откуда ты знаешь, что отец погиб?

— В лагере встретил человека, который отца знал. Он сказал, что отец погиб в Норильске<sup>7</sup>.

На этап его забрали в Архангельском управлении лагерей — перевозили в Мордовское управление, в лагерь для иностранцев.

Мы ужинаем и рассказываем друг другу истории своей жизни. Ужин у нас богатый: перед отправкой на этап я получил передачу от матери. Мать я видел мельком в дни суда: она с утра сидела у дверей комнаты, в которой проводили суд, и с мукой ждала, губы ее шевелились и что-то беззвучно шептали. Для меня эти секунды, когда меня проводили мимо нее под конвоем, были самыми тяжелыми за все шесть месяцев жизни в тюрьме...

### *Отрывок из письма, написанного в лагере в 1977 году.*

... Я осознал, что чувства мои притупились за эти долгие лагерные годы, и подумал, что, возможно, моя душа никогда не отличалась особой восприимчивостью. Ведь в 1962 году я не думал, что причину сильную душевную травму матери, да и всем остальным, кому был дорог и близок. Я знал, что меня рано или поздно арестуют, но считал, что родные отнесутся к этому спокойно, предполагал, что они воспримут мою судьбу так же, как я сам смотрел на нее. А думал я, что жить надо со смыслом, без страха, не боясь испытаний. Но мать-то думала иначе. И страшно страдала оттого, что я оказался в неволе. Где-то в мыслях, скрывааемых даже от самого себя, я все же знал, что причину ей боль, но шел на

это, не пожелав отказаться от свободы распорядиться своей жизнью, не желая считаться с притязаниями на мою жизнь тех, кому я был дорог. Но был и еще один аспект в этой конфликтной для души ситуации: я ведь считал, что рискую и своим благополучием, и благополучием близких ради счастья неизмеримо большего числа людей и во имя справедливости. Это — конфликт, выходящий за рамки отдельной человеческой души, это — конфликт внутри общественной морали!

В подобную конфликтную ситуацию попадает едва ли не каждый член общества, исключая разве крайних эгоистов. Каждый — хоть раз в жизни — стоял перед выбором: что предпочесть, общественное или личное благо? Как поступать честно, если у тебя есть семья, близкие, и, выбрав нравственное решение в пользу общественного блага, ты рискуешь не только пострадать сам, но и причинить острые страдания своим близким?

Как угадать, что чувствовал человек, принимая то или другое решение?! Если при выборе он пожертвовал близкими, что это у него — высокое нравственное самопожертвование или душевная тупость, неспособность сопереживать, ощущать ту боль, которую он им причинит? Мы много раз слышали, начиная с детства, эту фразу: "Он — имярек — отдал все лучшее в своей жизни народу" — но всегда ли у такого героя была в жизни душевная, нравственная драма и глубочайшая боль, которую должно вызывать такое самопожертвование?.. Не прост человек, сложна его душа, и извилисты пути истины.

*Продолжение письма 1970 года.*

Поужинав в "стольпине", мы с иранцем ложимся спать. Я лежу на нижней полке, закинув руки за голову. Мне не спится. Что меня ждет впереди? Иранец говорит, что раньше политические заключенные (он называл их по-блатному — "фашисты") сидели вместе с уголовниками, "бытовиками",

по его терминологии, а сейчас где-то в Мордовии есть специальные политические лагеря. О том, что могут существовать особые лагеря для политиков, я как-то раньше не думал и теперь осваиваю мысленно эту новость. Пытаюсь представить, как выглядит такой лагерь, как живут там люди. Иранец рассказал, что в лагерях живут в бараках. Есть две зоны: жилая и рабочая, и они разделены. В рабочую водят из жилой на работу, обыскивая каждый день при проходе туда и обратно. А бывают работы и вовсе далеко от жилой зоны. Какие бывают работы? В Архангельске он работал на лесоповале и на деревообрабатывающем заводе. Еще раньше, в Норильске, работал на медно-никелевой шахте. Но сейчас лучше всего, добавлял он, вовсе не работать, быть "отказчиком". За это, правда, сажают в БУР<sup>8</sup> на пониженное питание, отправляют в карцер, в ШИЗО<sup>9</sup>, и в крытую тюрьму, "крытку"<sup>10</sup>. Почему сейчас? Вообще-то он как вор никогда не работал. Но сейчас и "мужик"<sup>11</sup> нет "понта"<sup>12</sup> работать. Уже три или четыре года, как перестали выдавать на руки заработанные деньги, уже закрыты в зонах коммерческие столовые, где можно было сытно поесть за деньги или за лагерные талоны. "Мужики", да и ваши, политические, те хоть эти шесть лет или пять, в общем, с пятьдесят четвертого года — наедались. А сейчас в зонах пусто. В лагерном магазине продают одну махорку и капусту, и "отovarиваться", покупать там продукты, можно лишь на пять рублей в месяц из заработанных денег, остальные кладутся на твой счет в кассе МВД — до освобождения. А на особом режиме (ну, это не мой, у меня только строгий) — там вообще нет продуктового ларька. Нет, он никогда не работал и работать не стоит. Что еще? У "бытовиков" живут "по мастям", по разрядам. Наивысшая масть — "вор" — вообще не работает: помогает за это администрации выгонять "мужиков" и "фашистов" на работу и берет дань с "мужика". Правда, сейчас уже администрация без воров справляется с этим делом, поэтому воров стали "гнуть" — заставляют работать. Низшая масть — "козлы"<sup>13</sup>. Кто такие "козлы"? А, не сто-

ит о них говорить! Да и вообще сейчас настоящих воров, "воров в законе", в лагере не встретишь. Сейчас другая жизнь — хуже, чем раньше. Сейчас "беспредел"<sup>14</sup> взял власть в лагерях. "Беспредел" — это вообще-то "суки"<sup>15</sup> и другие наглые "фраера"<sup>16</sup>. Раньше в лагере держали порядок "воры в законе", а теперь порядка нет. И мужика грабят все кому хочется, кто посильнее и понаглее, а это — беспорядок. С "вора" администрация берет подписку: отказ от воровской идеи<sup>17</sup>; отказавшихся подписать отправила в тюрьмы, а "суки" и "фраера" вошли в силу, творят "беспредел". "В общем, потом поймешь, сразу, конечно, не охватить. Да и знать тебе это все не к чему. Это у нас, бытовиков, такие масти и такие законы, а у вас, пятьдесят восьмой<sup>18</sup>, нет мастей, все, в общем, "мужики" — работают, ждут конца срока. Правда, одно время ваши "замутили", были в каких-то зонах восстания: на Воркуте, в Норильске, в Джезказгане, это после смерти Уса<sup>19</sup>, тогда у ваших жизнь легче пошла". Подробно он мне об этих восстаниях рассказать не может, ему самому об этом рассказывал тот человек, который знал отца в Норильске. "Узнаешь в своем лагере. У вас там наверняка есть и участники этих восстаний..."

Да, думаю, вот человек уже тринадцать лет мыкается по лагерям — и ничего. Вид у него, конечно, не ахти какой для его-то тридцати лет: измученный, чересчур тощий, какой-то пригнутый, но живой же, не унывает в роде, привык, приспособился. Похоже, даже сроднился со стихией неволи. Это, конечно, очень странно, и тут же я ловлю себя на этом желании: сродниться с неволей. Выскочило же такое!.. Но ведь то, что он рассказывал и про лагерный образ жизни, и про "масти" — оно было и хуже, и лучше того представления, которое заранее складывалось у меня о НЕВОЛЕ: одиночная камера, годы, похожие на один и тот же день — мрачный, томительный, скучный. Лагерь-то я представлял по кино: душный барак, колючая проволока, все люди на одно лицо — угрюмые и молчаливые. Как тени. А ведь там тоже жизнь. Жизнь всюду, где люди. Вишь, по "мастям" разбились... Но

у нас, политических, он говорит, нет этих мастей, у нас жизнь другая. Посмотрим. Это, конечно, хорошо, что мы отделены от уголовников, но какие же у нас условия жизни? Ведь закон и власти относятся к нам строже, жестче.

И еще он говорил, что при Усе были для политических каторжные лагеря. Сейчас, рассказывает, люди уже не умирают в зоне от голода, холода и болезней. Но то, что он рассказывал о каторжных лагерях до сорок девятого года, — ужасает. Спали на голых нарах, и в чем работали в шахте, в том и ложились спать. Каждый день из барака выносили трупы. Хоронить не успевали. Земля в Норильске промерзлая, надо долго долбить, похоронная команда не справлялась с работой, поэтому мертвых складывали штабелями. Да, тогда голод был и на воле, и в те годы человек в лагере получал хоть пайку-гарант, и если удавалось пристроиться на работу куда-нибудь полегче, то можно было выжить. Но в забое надо было норму давать — тяжело. Сейчас, вроде бы, каторжных лагерей нет, да и вообще жизнь теперь не та, что при Усе...

Будут ли там книги? Будет ли время читать? Шесть лет моей жизни... А что будет после этих шести? Учиться поздно. Как же жить? Да, на это сейчас не ответишь. И, видимо, не скоро найдется ответ. А может быть, не стоит думать о будущем, я ведь сам отверг свое будущее, ту жизнь, которой мог жить там, на воле. Я не захотел просто учиться, потом просто работать, потом... Вот именно — а что потом? Потом я бы умер. Тогда бы и решал вопрос — как жить? Решало то, что не видел смысла жизни в самой жизни. Ту жизнь, которая развертывалась впереди по инерции, я называл "дурной бесконечностью": еда, работа, наслаждения с женщиной, кино, театр, книга, и снова все то же и все то же — это лишь повторение одного комплекса ощущений и переживаний. И даже в этом немногом, дарованном "вольной" судьбой: ограниченность, диктуемая бедностью, изнурительным трудом и мизерным жалованьем, скудость и скудость... Стать конформистом, упорно лезть по престижной социальной



лестнице вверх, строго в затылок впереди стоящему в длинной очереди таких же конформистов, — это не соблазняло. Ведь при этом придется частенько лизать зад впереди ползущего начальника, а это удовольствие не для моего характера. Да и цель гонки не стоит выеденного яйца. Очень точно сказал мой любимый поэт: "И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая штука"<sup>20</sup>. Хотя сейчас, в этот момент, в "столыпине", для меня вся прелесть бытия в этой "глупой шутке", в утерянном "комплексе ощущений и переживаний", но это — крик плоти, слабость духа.

Нет, смысл жизни я не утерять, утратив свободу, и потому рано сожалеть и раскаиваться... Не раскаялся же я на суде. И хотя не раскаялся и не признал вины, прежде всего, из гордости, из чувства собственного достоинства, но невозможность раскаяния все-таки проистекала из высших соображений — из веры в свою правоту в главном!

Если составить "мою" шкалу жизненных ценностей, то, наверно, после ценности самой жизни идет ценность жизни ради ее смысла, и уже только затем — "свобода". Впрочем, "свободу" (в смысле жизни по ту сторону решетки и колючей проволоки) можно отодвинуть еще дальше — ее и отодвигают другие ценности человеческого бытия. Потому так много людей и рискуют потерять жизнь на воле. Значит, мое поведение на следствии и суде было обусловлено именно этим выбором: "Прожить жизнь со смыслом — даже если это будет стоить жизни на воле". Впрочем, чем обусловлено наше поведение в тех или иных ситуациях — не так-то легко установить...

Я не то дремлю, не то полудремлю... Позади было полгода следствия в Лефортовской тюрьме и суд, впереди — лагерь, шесть лет заключения, на меня обрушилась масса новых впечатлений, и после того, как мы перекусили с иранцем маминой передачей (яблоки, апельсины, булочки с маком, все это было, конечно, роскошью по сравнению с пайком, выданным на этап, — буханкой черного хлеба и неве-

роятно соленой селедкой), в моих воспоминаниях, сонных и полусонных, прошла почти вся прожитая жизнь.

Я видел во сне разные эпизоды, разных людей, видел детство, училище, любимую девушку, институт, друзей...

В мозгу появлялись странные мысли: где я был до моего появления в мир? Жил ли я до пяти лет (я помнил себя примерно с этого возраста)? Я метался: мне то хотелось махнуть рукой и пройти мимо факта своего появления на свет, отнестись к нему как к заурядному метеорологическому явлению, вроде дождевого пузыря, то меня до столбняка поражала мысль, что я ведь, наверное, существо бессмертное, и теперь мне уже никогда не отвертеться от вечного сосуществования с этим "фактом", т. е. с этим существом внутри моей оболочки, чем-то отмеченной для отличия от бесконечного числа мне подобных.

Я вспоминал хорошего послушного мальчика, отличника в школе, и мог бы проникнуться к нему любовью и почтением, если бы не тот удивительный факт, что из крошечного отличника выросло взрослое чудовище, которое на много лет, из сострадания к нему (как говорил прокурор), будут прятать от законопослушных и благопристойных граждан, которому по всем правилам общепринятой морали должно быть стыдно попадаться людям на глаза. Вдруг мне захотелось обрисовать контуры моей бессмертной души, как я ее понимаю, поведать о гуманизме, о пылающей, как сердце Данко<sup>21</sup>, любви к людям (опять напоминаю, мне было девятнадцать...), — и я сник и увидел себя песчинкой, червем, рабом, не покорившим ни одного народа, не собравшим камней для своей пирамиды, не спевшим "Илиады" или "Одиссеи". Кто же различит меня, песчинку среди морского песка человечества, кому интересно выслушать вопли раба, подобные вою ветра, переносящего этот песок в бурю? Или вдруг я представлялся себе червем, подрывающим фундамент Вавилонской башни, вместо того, чтобы по примеру добропорядочных и благопристойно трудящихся дождевых червей вспахивать и взрыхливать поле Хозяина. Я видел се-

бя то таким, то сяким: то травинкой в поле, на котором пасется стадо Хозяина, то воплощенным быком Аписом, богом египетским<sup>22</sup>, то рыбьим мальком, резвящимся перед разинутой пастью Левиафана, то бессмертной душой, проходящей по жизни, как гигантский кит плывет по морю-окияну, то пылинкой, то непокоренным Эверестом...

Представь себе существо, появившееся в сорок втором году под вой артиллерийской канонады: среди смерти, и голода, и холода выжившее для того, чтобы с десяти лет — по собственной воле! — маршировать с барабаном, а потом, в девятнадцать, сменить казарму на тюрьму — и, сидя в "тройнике" за решеткой, уподобиться перевозимому дикому зверю, убеждающему себя, что он счастлив! И что день его рождения был осенен — все-таки — розовым ангелом созидания смысла жизни! Я заглядываю в зеркало своей души и вижу в нем свою добродушную рожу с улыбкой до ушей. Если бы можно было так легко построить счастье жизни, как оказалось легко увидеть, представить свою счастливую физиономию в зеркале души! А не попытаться ли в зеркале своего самосознания — почему-то тут же в мозгу возникает образ Иванушки-дурачка из "Конька-Горбунка", который бросился в котел с кипящей смолой и выскочил оттуда умным царевичем, — не попытаться ли сложить в нем черты пережитого в образ счастливого человека?

С чего начать?

Наверное, с самой даты рождения.

У меня был дядя Саша, которого я всегда очень любил и люблю до сих пор — вопреки тому, что мне приходилось праздновать свой день рождения вместе с ним.

Я, как ты помнишь, родился 23 ноября, а дядя Саша — 26-го, на три дня позже, но так как он родился до революции, то по старому, тогдашнему стилю его день рождения считался 13 ноября. И бабушка, моя бабушка, а дядина мама, категорически отказывалась менять дату рождения своего любимца по какому-то новому стилю. Так возникла путаница с числами, которая угнетала меня все детство. Собст-

венно, вначале, когда я был совсем маленький, мы вообще жили впроголодь (впрочем, намного лучше соседей и других окружающих, которые просто пухли с голоду), и семье было не до дней рождения. Но когда стали жить по-лучше, начали отмечать эти даты. Но праздновать два дня рождения в один месяц, и мой, и дядин, было все же не по карману. Поэтому праздновали оба вместе, в один день. А так как бабушка любила своего сыночка Сашу не меньше, чем моя мама своего Олексу, то 13 ноября она пекла два пирога со свечками (свечки были из теста), накрывала стол (в скобках, для тебя, — с горем пополам), звала родственников и неизменную гостью — Марию Антоновну, подругу дядиной жены, с одной стороны, и мою учительницу — с другой. Сейчас-то я думаю, что за столом по тем временам было радостно и счастливо, но тогда моя радость от праздника всегда была сопряжена, вернее, перемешана с огорчением, с чувством обиды, Обида же вызывалась детским воображением. Мне было обидно, что дядин пирог больше моего, и даже то обидно, что на дядином пироге больше свечек... Хотя тогда я уже умел считать и догадывался, что количество свечек соответствует возрасту, количеству лет. Но мне казалось, что и рядом-то нас посадили, чтоб всем приходилось вертеть головой поменьше — выказывая равную долю внимания обоим новорожденным. Шея в тот день ни у кого не болела, но зато как изболелось мое детское самолюбие! Все сияние, исходившее из глаз родственников и даже Марии Антоновны, падало на дядю Сашу, а мне, незаметному малышу, доставалась лишь тень от этого сияния (так мне казалось!). Я-то мечтал, чтоб нас рассадили, поместили на противоположные концы стола, и чтобы все головы были целый вечер повернуты ко мне, и чтоб никто не глядел на дядю, чтоб никто не замечал мой маленький пирог, и что сам я маленький — чтоб тоже никто не замечал. И, конечно, чтобы я был уверен, что Мария Антоновна только меня любит. Но, может быть, я не обращал бы внимания на размеры наших с дядей пирогов, не считал бы себя ущемленным малым количест-

вом свечек на моем пироге, может быть, и вообще бы принимал сияние глаз родственников только на свой счет, если бы бабушка один — хотя бы один раз! — согласилась уступить маме. Но этого не случилось ни разу!

Моя мама — не раз я это слышал — убеждала бабушку праздновать наши с дядей дни рождения в мой день рождения — 23 ноября.

— Мама, — взывала она к бабушке, — вы же знаете, что Саша родился тринадцатого по старому стилю, а по новому он родился только двадцать шестого. И раз у Алика день рождения раньше, двадцать третьего, то будет правильно праздновать их дни рождения двадцать третьего, а не двадцать шестого...

— Какое двадцать шестое! Тринадцатого, я же сказала тебе! — взрывалась бабушка (она-таки у нас была с характером). — Каким стилем сейчас рожают, знать не хочу; я родила Сашу и тебя родила, горе мое, как все женщины, обыкновенным манером. Помню я этот день, тринадцатое ноября, как же я такой день буду вспоминать двадцать шестого! Ты это хоть пойми! Ох, — вздыхала бабушка и замолкала, погружаясь в воспоминания. Разговор этот порождал у меня сомнения: настоящий ли вообще мы день рождения празднуем? Я не мог разобраться в старом и новом стилях, и думал просто: что дядю любят больше, чем меня! И поскольку все меня поздравляли тринадцатого, а двадцать третьего уже не вспоминали мой день рождения, я поэтому сомневался все детство — родился ли я двадцать третьего, не фикция ли эта дата. И уже когда я жил как бы самостоятельно, вне семьи — в суворовском училище, — я все еще сомневался, когда же отмечать мой день рождения. И тосковал в училище и тринадцатого, и двадцать третьего, и даже почему-то в подлинный дядин день рождения — двадцать шестого ноября.

Кстати, об училище... Его я тоже вспоминал в ту ночь первого этапа — может быть, потому, что я снова и опять надолго мысленно прощался с матерью. Мать, вопреки своей воле, покорившись моему желанию стать генералом, привез-

ла меня из Лозовой в Киев для сдачи конкурсных экзаменов — и уехала после того, как я был зачислен в училище, обмундирован и определен в первый взвод седьмой роты. Прощался я с матерью на виду у всех и потому простился сдержанно, как подобает будущему генералу. Потом вместе со всеми драил полы, расставлял койки в спальне роты, готовил класс к занятиям, получал учебники — работы было полно, и за делами на виду у всех чувство расставания с матерью заглохло. Наконец наступил вечер. После вечерней проверки и прогулки строем вокруг здания училища, после вечернего туалета, мы улеглись на койки в огромной спальне роты. В десять вечера прозвучал отбой: отбой — значит, положено спать. Но когда дежурный офицер погасил общий свет и, оставив один ночник, вышел из спальни, никто не выполнил команды. Конечно, мы еще и не были обучены засыпать по команде, но в тот раз не спали по другой причине: все мы в этот день (или несколькими днями раньше) впервые расстались со своими матерями, и после отбоя нас постигло наконец одиночество. С ним мы еще не научились прощаться, не привыкли, еще только-только постигали это новое чувство и не могли осознать это — разумом. Нас было много, каждый уже обзавелся приятелями и друзьями, но одиночество стало душить нас за глотку до слез, едва мы оказались в полумраке каждый в своей постели. Во всяком случае, для меня это было первое потрясение от одиночества в моей жизни: жуткая тоска клещами сжала меня в комок под одеялом. Сила ее была такова, что когда через несколько минут в спальне поднялась беготня и начался бой подушками, и через меня и по мне, топча постель и мое тело, проносились разгулявшиеся однокашники, я даже не пошевелился. Услышав шум, в спальню вошел офицер и предупредил, что за беготню после отбоя будет строго наказывать. А для начала тех, кто страдает бессонницей, пошлет натирать полы в коридоре. И он тут же отправил первых попавшихся под руку десятилетних шалунов драить паркеты в наших просторных и бесконечно длинных коридорах. Осталь-

ные, испуганные, попрятались под одеяло, и я знал, что они застыли там в лапах набросившегося одиночества, от которого пытались ускользнуть в беготню...

Как я справился тогда с этим чувством? ”Я вспомнил, что решил стать генералом — как хорошо быть генералом! — и, сжав зубы, уснул крепким сном”, — так, наверное, я написал бы в своих мемуарах, если бы стал генералом. Но поскольку такая опасность мне явно уже не грозит, могу честно признаться, что с чувством этим не было никакого сладу, и лишь всемогущее время как-то утихомирило его. Построения, строевая подготовка, спорт, книги, драки, наказания и тэ де, и тэ пэ — жизнь вытеснила чувство одиночества в глубины души. Там оно, ”уйдя в подполье”, слилось с родственными ему настроениями, и теперь они вместе периодически возникают на поверхности и заполняют мое сознание, затопляя спокойный разум.

Не могу найти названия этому настроению, которое так часто посещало меня потом в неволе. Оно всплыло в душе очень ярко сразу после ареста; мне кажется, что оно сопровождает каждого новичка, переступающего впервые порог тюремного мира. Как дать тебе представление о нем, тебе, которая не бывала в суворовском училище и в казарме, не бывала ни в тюрьме, ни в лагере?! С чем сравнить его?

Это то чувство, которое поднимается в нас, когда оставляем близкого человека на перроне вокзала или на летном поле, а сами, прижавшись к стеклу окна, смотрим в пустоту пространства и ощущаем открывшуюся пустоту жизни, и знаем, что в будущем, куда несет нас самолет или поезд, мы будем одиноки, и никто не разделит там с нами радость и горе.

С этим именно чувством вышла на улицы Москвы с желтыми цветами в руке булгаковская Маргарита. И Мастер шел ей тогда навстречу с таким же чувством...

Или — эту отъединенность от людей и щемящее чувство безмерной жажды единства с ними испытывал Раскольников после убийства. Это же чувство я улавливаю и в фантазмаго-

рическом, вневременном и внепространственном бытии притч Франца Кафки, оказавшемся реальнее реальной жизни. И у загнанных жизнью в одиночество героев Фолкнера — тоже.

Может быть, тебе это описание покажется сентиментальным, но мы, эки, очень остро испытываем свою отъединенность от мира и от людей, мы как бы погребены заживо, стоим лицом к смерти, мы ощущаем рядом с собой духовную смерть и умерщвление чувств. И потому в этом чувстве жизнь и смерть слиты воедино, и избавление в смерти кажется счастливым продолжением жизни. Ибо сама жизнь ощущается нами как надрывно и пронзающе звенящая в пустоте Вселенной одинокая струна...

До моего сознания постепенно доходит стук колес, жесткая полка купе, холод. Да, ведь я еду этапом в лагерь... Меня пробудил от дремы прохладный ветерок, смешанный с едким паровозным дымом и пылью: солдат открыл, наконец, окно, чтобы проветрить душный вагонзак.

На следующее утро я был в Потьме, в ЖХ 385/18, пересыльной тюрьме Мордовского управления лагерей "Дубровлаг".



## Глава шестая

*Из писем 1970 – 77 гг.*

Через три дня после прибытия на Потьму местный "стольпин" повез меня по лагерьной железнодорожной ветке Потьма – Барашево. Она тянется на несколько десятков километров к северу от обычной железнодорожной линии и пронизывает десятки местных лагерей: только они да лагерные поселки для охраны и администрации могут находиться в этой зоне. Каждая станция на ветке – центр нескольких лагерей. Меня доставили на станцию Сосновка – там расположены два лагеря: номер первый и номер седьмой. Мой этап завершился в седьмой зоне.

Утром, когда мы с конвоем подошли к воротам лагеря, там стояла колонна эков. Я не мог знать, почему их свели в эту колонну, зачем они стоят у ворот, но постепенно, вспомнив рассказы иранца, догадался, что "рабсилу" ведут на рабочий объект за зону. Колонна эков и мы, этапники (нас было трое), стояли друг против друга и с любопытством рассматривали новых людей. Времени хватало: старший конвоя сдавал наши дела на вахте, а лагерные надзиратели пересчитывали колонну по пятеркам. Такой колонны я в жизни не видел, и если что-либо подобное иногда мелькало в кино, то кадры быстро сменялись новыми...

Все тут было внове: обстановка, загадочное, странное окружение, какие-то мифические люди. Лица их казались фантастическими масками. Нет, неверно... Одной маской, одинаковой для всех. Различия были нанесены на маску слабыми штрихами – мне тогда показалось, чтобы избежать подмены и путаницы. Маска была серая, морщинистая, за-

дубленая, смотрела на меня угрюмо, тупо, безжизненно. Глиняные лица этих сотен двойников сливались с одинаковыми поношенными телогрейками, протертыми брюками и допотопными, истертыми ботинками и сапогами. Вся эта колонна как бы вращалась в окружающий пейзаж — в серую тяжелую землю, в старый драный забор, обшарпанные здания, раскиданные вокруг, — во всю тягостную атмосферу неволи.

Эта глыба мертвечины сразу легла мне на душу и придавила ее.

— Такие здесь люди, — думал я, — мне придется жить с ними. Это же уэллсовские марсиане. Какова же здесь жизнь, если человек становится таким?

И заскользил по колонне взглядом, отыскивая хоть одно земное, живое лицо. Нашел, наткнулся, наконец. На меня глядели чьи-то острые глаза, под улыбающимися губами торчала борода. Лицо было интеллигентное, мягкое, под расстегнутыми верхними пуговицами бушлата я увидел торчащий воротник красной рубахи, кажется, вполне чистой. И тут догадался, что эски просто одеты в рабочие робы, а если они переоденутся, то и лица, наверное, тоже оживут.

Но первое впечатление осталось в памяти. В то мгновение, когда я созерцал безликую серую колонну эсков, — в это мгновение я подумал, что в угрюмой массе все должны чувствовать себя одинокими и что я войду в колонну обреченных и тоже буду одинок. Жизнь в лагере — томление души, созданной Богом для любви, для семьи, для свободного выбора цели существования и обретения единства с близкими по духу.

До того, как я увидел эту колонну, я надеялся, что и в неволе можно разделять чувство одиночества с таким же арестантом. Угрюмая масса эсков как будто приоткрыла внутренний смысл, внутреннее качество жизни в лагере. Она как бы проговорила: вот во что превращается душа человека — в угрюмый тяжелый комок глины. Здесь сложная, филигранная форма души, тонкость и богатство чувств

будут смяты, и душа превратится в засохший кусок праха, и каждый человек — одинокая глыба праха, и все вместе — груда стершихся до безличия хрупких камней...

Впечатление это было вытеснено встречей с Ю.<sup>1</sup> и В.<sup>2</sup>, прибывшими в зону за несколько дней до меня и потащившими меня по баракам представляться и знакомиться, и окончательно оно рассеялось, когда вечером ко мне подошел человек с бородкой, которого я заметил в колонне. Ему было тридцать лет, был он философом. Нет, когда я говорю "философ", то имею в виду не характер, манеру знакомиться и общаться с людьми, а просто профессию: он окончил философский факультет Ленинградского университета. "Я видел, — сказал он, представляясь, — какими глазами ты смотрел на наших "глухарей"<sup>3</sup>. Мне тоже сначала казалось, что они носят одну маску, позаимствованную из любительского спектакля о дантовом аде".

Монтень<sup>4</sup> — такова была "кликуха" философа — работал в строительной бригаде, состоявшей в основном из "полицаев"<sup>5</sup>. Они строили за зоной БУР. По странной иронии судьбы (впрочем, возможно, и не странной) сейчас, спустя пятнадцать лет, я сижу в одной из камер того самого БУРа, кто знает, может быть, построенной моим старым другом<sup>6</sup>.

Утром у ворот дохнуло на меня одиночество, днем же я растворился в приятной суете новых знакомств, а уже вечером оценил раскованность души в лагере. Как сказал один зэк: "Что в лагере хорошо — свободы от пуза"<sup>7</sup>.

Я начал сравнивать лагерь с суворовским училищем. Не исключаю, что мысль: "Да тут больше свободы, чем в училище" — была тогда своеобразной формой защиты моего сознания от ужаса предстоящей неволи. Внутреннее принятие шести лет лагерной жизни (три из них мне потом пришлось провести в крытой тюрьме) было необходимо. Мысли вновь и вновь возвращались к этим шести годам и к проблемам будущей жизни — после освобождения. Потом шли дни, месяцы, годы, а я все спрашивал себя: пройдет шесть лет, а дальше что? Этот вопрос будто колючкой впился в мое

сознание, и потому мне твердо хотелось принять хотя бы лагерное настоящее, чтобы избавиться от страхов по поводу неопределенного будущего.. И, может быть, потому, что первый день в зоне был исключительно хорош, я стал делать полуироническое, но и полусерьезное сравнение лагеря с училищем. Наверное, оно было необъективным, но, как ни парадоксально, мое умозаключение о преимуществах лагеря действовало на психику утешающе. Я на самом деле утвердил в себе в тот день чувство обретенной свободы.

Разве распорядок дня в училище не был более жестким и обременительным, нежели режим лагеря, даже "строгого режима"! Например, в лагере можно было не пойти в столовую (и я часто не ходил туда, там готовили так, что я предпочитал пожевать всухомятку пайку хлеба, которую приносили в барак). Но в училище я не мог опоздать не то что в столовую, а даже на "построение перед приемом пищи". Хотел я есть или нет — никого не интересовало, я обязан был встать в строй и идти вместе со всеми в столовую. А в лагере я уже на второй день почувствовал сладость свободы, когда все двинулись строем на завтрак, а я вышел за порог барака, прищуриваясь в сторону солнца, потягиваясь, и сладко зевнул. Если бы я так поступил в училище, передо мной сразу возник бы старшина роты или Сам Дежурный Воспитатель и грозно приказал: "Суворовец Мурженко, немедленно догоните строй!" И я согнал бы зевок с лица, щелкнул каблуками и, рывкнув: "Слушаюсь!" — галопом догнал бы строй. А тут, в лагере, я *никогда* не становился в строй, идущий в столовую, и, если мне делали замечание, посылал и надзирателей, и начальника отряда, и всех остальных "куда сам хотел". Хотя, замечу в скобках, это мне дорого обходилось — наказывали меня тоже "кто как хотел". Да что строй!

В училище шесть часов в день я отсиживал на уроках и внимательно слушал преподавателей, и лишь когда было исключительно скучно (а это случалось почти на каждом уроке), я тайком читал книги. Вечером тоже высидывал

три часа "самоподготовки" под бдительным оком офицера-воспитателя. Любопытно, что мне вообще не приходила тогда в голову мысль, что я подчиняюсь внешнему принуждению. Здесь же, в лагере, я должен был трудиться всего восемь часов в день, причем четыре часа я работал на себя (заключенным платят пятьдесят процентов их заработка, остальное составляет налог в пользу МВД, его называют "налог за проволоку"). Но нравственное мое отношение к здешней работе было совсем иным, чем к девяти часам занятий в училище: оно было нравственно свободно! Я не испытывал никакого чувства долга, никакой моральной обязанности работать — какое это освобождение! Более того, в зоне я считал вполне нравственным увиливание от работы, и не только увиливание (не буду скрывать от тебя, дорогая, истину, какой бы ужасной она ни показалась), но и прямой отказ от работы. Понимаю, что на другой — трезвый или еще какой — взгляд работа в лагере есть принудительный метод "перевоспитания" человека, и, как известно, каторжные работы были и есть средство наказания, так что ничего ужасно-абсурдного в моем отказе от работы кое-кто и не увидит. Но вернусь к сравнению лагеря с суворовским училищем. Если, например, сравнить работу на производстве в зоне с самоподготовкой, то последняя являлась таким же принуждением. Это ведь нисколько не легче труда на заводе — учить уроки самостоятельно в течение трех часов. Я не мог встать и уйти из класса, не мог сидеть за рабочим местом и ничего не учить, не выполнять заданий по предметам — за это тут же наказывали. В училище я воспринимал "самоподготовку" как должное, как согласие принять на себя долг — "самоподготавливаться" и "добросовестно работать", чтобы завтра получить хорошую оценку. Однако я не мог не чувствовать всей тяжести этого свободно принятого долга. И потому в лагере я почувствовал обретение свободы уже в спокойной возможности отказываться от работы в любое время, работать по своей прихоти со спокойной совестью, считать здешнюю работу принуждением — и только. Да, это бы-

ло освобождение! Наказания же — на них, естественно, не скупилась — лишь успокаивали мою совесть...

Конечно, самообман такого "освобождения" не мог длиться долго. Некоторое время спустя, в однообразии дней и лиц, чувство одиночества вернулось снова, я сполна пережил его и знаю, какой у него вкус. Наверное, ты удивишься: какое может быть одиночество в толпе людей, часто близких по духу, интересных, умных, разнообразных? Но ведь и одиночество бывает многоликим, как многолики переживания человека: одиночество безответной любви непохоже на одиночество преступника, одиночество пророка не такое, как одиночество бессилия. Вот в лагере я познал последнее — одиночество бессилия. Хотя тягостное чувство, подавившее меня у ворот зоны, быстро рассеялось благодаря друзьям, но уже ночью, глядя на сереющий потолок барака (у меня была бессонница), я осознал: даже если здесь есть с кем разделить свои думы и чувства, а в лагере таких людей много, но если они так же бессильны, как ты, — от одиночества не убежать. И вместе с другими тебя охватит это одиночество — одиночество бессилия. Именно оно открыло мне тогда наше изгойство в обществе, изгойство мое и моих друзей.

\* \* \*

Лагерь — белое пятно на литературной карте нашей страны. Не могу сказать, что значение этого пласта социальной жизни нашей страны я осознал сразу же, и даже сейчас не уверен, что осознал его глубоко и до конца: у меня уже немалый опыт жизни в лагерях и тюрьмах, но его недостаточно для каких-то иных обобщений, кроме разве психологических. Я прочитал всего одну повесть о лагере — "Один день Ивана Денисовича"<sup>8</sup>, и как-то в журнале "Театр" была рецензия на пьесу, в которой имелась сцена из лагерной жизни (пьеса была поставлена, кажется, в "Современнике"<sup>9</sup>, но скоро снята с репертуара). Этого вовсе недоста-

точно, чтобы отразить влияние лагерей на нравственную и духовную жизнь народа, выяснить, какие последствия лагеря вызвали в нелагерном мире и какие еще вызовут.

Для меня лично лагерь стал открытием нового мира. Более того, в лагере я осознал, что мы не "Робинзоны", как это представлялось на воле, а маленькая группа в толпе бесчисленных "Пятниц". Здесь оказались люди, о существовании которых я не смог бы узнать, оставаясь на свободе. Здесь я встретил заключенных "контрреволюционеров" и "жертв культа личности" — это в шестьдесят втором году! Передо мной предстали одновременно люди, не принявшие новый, социалистический строй, и их бывшие противники, принявшие этот строй, лояльные к власти и ее идеологии, но все же репрессированные в итоге внутривластной борьбы со своими единомышленниками.

Застав в лагере представителей всех эпох и этапов лагерной эпопеи, я получил шок, был под ошеломляющим впечатлением и подвергался колоссальному воздействию нового опыта. Собственно, передо мной открылась живая книга неписаной истории. Где на воле я смог бы узнать, как на самом деле строился Беломорканал, канал имени Москвы, Волго-Дон, Комсомольск-на-Амуре, как застраивали Сибирь, кто работал на шахтах Воркуты, Норильска, Кузбасса, Колымы? Изредка проскальзывали в книгах глухие отзвуки про выселение кулаков, но разве где-нибудь в наших книгах описано, как в одну ночь выселяли полдеревни, как делали "чистки" в Ленинграде, Москве и других городах... Как людей отправляли в лагерь за опоздание на работу, за катушку ниток, за колоски<sup>10</sup>, как гнали эшелоны с пленными, пережившими немецкие лагеря, прямым ходом через всю Россию, в Сибирь, как выселяли в необжитые степи Казахстана и Западной Сибири целые народности, половина из которых шла в лагерь...

Как я понял из лагерных рассказов "жертв культа личности Сталина", одержимый жаждой власти Сталин использовал аппарат государственной безопасности, надеж-

но прибранный им к рукам, в качестве безотказного "аргумента" в полемике с партийными оппонентами о путях развития социализма, о строительстве государства, о характере власти. Как шутил известный остряк той эпохи, "ты ему цитату, он тебе — ссылку, ты ему доказательство, он тебе — заключение". В общественной атмосфере клеветы, шпиономании, "разоблачений" все подозревали друг друга — нет, не в "контрреволюционных помыслах" или "государственной измене", но в ложном доносе или обдуманной клевете. Кроме того, каждый боялся, что его обвинят в потере бдительности и "контрреволюционном попустительстве". Карьеристы и мещане, каждый по-своему, боролись за свое — кто за "портфель", за место в аппарате власти, кто за комнату соседа в коммунальной квартире. И в лагеря шли миллионы людей, не помышлявшие о борьбе с советской властью. Никто из них не был "врагом народа" (формулировка, которую я читал в их приговорах).

Все это и многое другое я узнал только в лагере, от живых свидетелей. Вопрос, который меня беспокоит сейчас: как воздействовала лагерная система на психику людей. Я говорю не о миллионах безвинно — по советским понятиям — пострадавших от нее, с ними более или менее ясно. Молодые, в цветущем возрасте в момент ареста, они выходили (если выходили) из зоны измотанными и иссушенными физически и духовно, понимавшими, что нет надежды выбраться из ада, что только чудо может открыть им новое жизненное попрание. Они смирились с тем, что стали изгоями, париями, и это смирение определяло их взгляды на мир и на свое будущее в нем.

Меня интересует другое: как воздействовали лагеря на надзирателей в зоне, на вольнонаемных мастеров на производстве, на людей, готовивших указы о репрессиях, утверждавших эти указы, применявших их, как эти понимали свою деятельность? Как феномен репрессий и бесчеловечного режима содержания совмещался с идеологической бутафорией об исключительной заботе о человеке и с провозглашае-



мой целью: "Все для блага человека"? Принять, оправдать лагерь, мне кажется, было невозможно. Значит, либо эти люди становились (или были с самого начала) трусами и эгоистами, которые только прикрывались общественными интересами, а блюли лишь свои, шкурные; либо же те, кто действительно верил в общественное благо своих действий, оставались человечными в решениях и — падали очередными жертвами или же, в лучшем для них случае, оставались не у дел.

Жизнь стала вырождаться и замирать, вера, дух, нравственность народа вот-вот должны были надломиться.

То, что было сказано на XX съезде<sup>11</sup>, просто невозможно было не сказать: я не представляю, что было бы, если бы это не было сказано. Это была гроза, разорвавшая мрак и пролившая освежающий дождь, очистившая атмосферу нравственной и духовной жизни. Люди смогли глубоко вздохнуть и осмотреться вокруг. Они уже ни во что не верили, но жить без веры — нельзя. Их переполняла ненависть, но ненависть иссушает источники жизни, а у людей были дети, невесты, жены, и они все нуждались в любви, и надо было вновь обрести и взрастить в себе чувство любви, доверия к жизни и другим людям. Все устали от лжи и хотели просто поменьше лжи в своей жизни и в жизни вокруг себя. Хотели, чтоб вещи назывались своими именами: Сталин назывался человеком, а не Богом, нищая деревня называлась нищей, бездушный бюрократизм назывался бездушным, забывшим о человеке, его благе, ценности, самооценности. Люди хотели, чтобы их личные потребности в сытости, тепле, чистоте не противопоставлялись общественному долгу и всеобщему благу, чтобы не скрывалось стыдливо-лицемерное неравенство в оплате, снабжении, материальном и культурном уровне жизни различных слоев населения — фантастическое и всем очевидное неравенство... Стали появляться первые произведения советской литературы, где читатели слышали голос живой жизни. Одним словом, в результате XX съезда страна стала оправляться после тяжелого недуга,

делать первые глубокие вдохи, первые неуверенные шаги, которые делает долго лежавший в душном, наглухо закрытом помещении старей больной.

А через несколько лет дети этой эпохи — мои товарищи по делу и мои новые друзья по зоне — оказались в Мордовском управлении политических лагерей, "Дубровлаге", или иначе ЖХ-385.

\* \* \*

Осенние прохладные сумерки опустили на лагерь. Зажглись огни запретной зоны<sup>12</sup>, потом редкие лампочки на одиноких столбах в самой зоне. Скудное освещение приглушает и скрадывает от начальства интенсивность шумных групп эков, высыпавших из бараков, чтобы совершить вечерний моцион, набрать в легкие свежего воздуха, прежде чем снова окунуться в душные сны в застоялой атмосфере переполненного барака.

На территории жилой зоны расположено несколько старых обшарпанных беседок. Сейчас в одной из них собралась компания друзей, среди них и аз, грешный. Здесь темнее, чем на зоне, но зато особое тепло уюта создают кастрюля с дымящимся кофе и — дружба собравшихся. Это уже не первый вечер, проведенный мною в таких беседах после приезда в лагерь. Состав собирающихся в компании не всегда одинаков — ведь эки работают на производстве в три смены. Мы собираемся, пьем кофе и говорим, говорим... В воскресенье, когда все "дома", друзья собираются, чтобы обсудить чей-нибудь опус или обменяться мнениями по затрагивающим всех лагерным проблемам. Как раз сегодня обсуждение доклада одного парня из компании, опуса на тему: "Новый класс" Милована Джиласа.

Мог ли я вообразить такую картину несколько недель назад? То есть беседку в зоне, и даже с кофе, вообразить мог, но — такую встречу с таким количеством единомышленников! Оказывается, так же, как думали и действовали

мы, — так же думали и действовали все сидящие в этой бесежке. Тут были люди из групп М. Молостова, В. Трофимова, Л. Краснопевцева, Э. Кузнецова, С. Пирогова и многие другие. С некоторыми из них я крепко подружился в зоне...

В бесежке нужно собраться незаметно и "естественно", не привлекая лишнего внимания полицаев, которые являются членами СВП — секции внутреннего порядка<sup>13</sup>. Эти "суки" и "козлы" сразу сообщают на вахту<sup>14</sup> о любом, сколько-нибудь значительном собрании "молодых" (так нас тут называют), кажущемся им подозрительным. Но и мы храним бдительность: на тот случай, если появится вызванный "полицаем" надзиратель, у нас всегда стоит кофе: "Собрались цифирнуть<sup>15</sup>, начальник!" Впрочем, не подумай, что кофе стоит тут только для отвода глаз мента, мы его и пьем с удовольствием. Иногда вместо кофе пьем чай, но чай — запрещенный продукт в зоне, поэтому он стоит дороже и достать его на зоне труднее<sup>16</sup>. Сейчас все в сборе — не хватает только докладчика, Миши Молостова.

Миша мне понравился с первой встречи: интеллигентное, приятное лицо, высокий лоб, красиво вылепленный нос и мягкая, с легким ироническим изгибом, улыбка. После окончания Ленинградского университета он преподавал философию в одном из вузов Сибири, где и был арестован. Собственно, его "подрывная деятельность" началась еще в Ленинграде, в пятьдесят седьмом году. Миша вместе с другими студентами организовал тогда студенческий комитет: они выпускали собственную стенгазету, проводили университетские собрания, дискуссии. С ними считался ректорат, к ним приходили на переговоры лица из областного комитета партии и из КГБ: в год, когда Хрущев разгромил и изгнал из ЦК группу сподвижников Сталина — Маленкова, Кагановича, Молотова и др. — местные власти чувствовали себя не очень-то уверенно. Студенческий комитет состоял исключительно из коммунистов и комсомольцев, но интерпретировал события, происходящие в стране, с собственных позиций. Как потом определили КГБ и суд — с "ревизионист-

ских”. Когда положение в верхах окончательно стабилизировалось и Хрущев прочно встал у руля власти, комитет разогнали. Миша и его ближайшие соратники, однако, успели защитить дипломы и разъехаться из Ленинграда по всей стране. Но контакты между собой они продолжали поддерживать, и через полтора года их все-таки арестовали. К старым грехам обвинение присовокупило и новые рукописи ”ревизионистского толка”, которыми каждый из них скрашивал унылые вечера, вспоминая бурный, счастливый, короткий миг своего бунта в бытность студентом. И вот Миша и его ”подельники” здесь, в Мордовии, в разных лагерях...

История почти всех студенческих групп — на одно лицо: не успев возникнуть, они гибли. Ни одна известная мне группа не успела оформиться — ни организационно, ни программно. Некоторые, однако, стояли на пути к организационному и идеологическому оформлению. Для идеологии всех групп было характерно отступление от догматического сталинского марксизма ”вправо”, к плюрализму в мышлении, к демократическому социализму в общественном строительстве. Они опирались на наследие молодого Маркса, на Кропоткина<sup>17</sup> и даже на Бакунина<sup>18</sup> (к последним относилась, например, ленинградская группа Трофимова — Тельникова<sup>19</sup>). Но были и случаи, когда демократическая настроенность большинства членов группы уживаясь с марксистско-ленинским догматизмом признанного лидера (например, в группе Л.Краснопевцева<sup>20</sup>). Чаще всего группа представляла людей, думающих по-разному, но объединенных критическим отношением к социальной действительности СССР, к отсутствию определенных прав и свобод. Как правило, один-два из числа единомышленников вынашивали план активных действий. Все завершалось печатанием и распространением листовок, выступлением на площади с чтением стихов вслух, распространением запрещенной литературы — их тут же арестовывали, а остальные шли свидетелями по ”делу”.

Вот напротив меня сидит Сергей Пирогов<sup>21</sup>, он о чем-то

тихо переговаривается с В.Дутко<sup>22</sup>. Еще будучи студентом, Сергей открыл для себя Югославию: стал поклонником ее президента, приверженцем ее социально-политического устройства и — постепенно, не сразу — адептом Милована Джиласа<sup>23</sup>. Уже работая преподавателем в техникуме, он стал знакомить наиболее толковых учеников с ”югославским путем”, идеями Джиласа и своими размышлениями по этому поводу. Кончилось это, естественно, тем, что Сергей вместе с одним из его наиболее верных прозелитов был отправлен в места, не столь отдаленные (как на юридическом языке царских юристов называли Мордовию), где я и созерцаю его сейчас беседующим с Володей Дутко.

Володя Дутко<sup>24</sup> пошел по делу, кажется, один. Пишу ”кажется”, потому что еще не успел поинтересоваться подробностями его дела. Дело это занято одним эпизодом, по сравнению с которым тускнеют все остальные, наверняка стандартные детали. Вот этот эпизод. Владимир постоянно слушал зарубежные радиопередачи о событиях в Венгрии 1956 года и остро их переживал. И вот в один из ноябрьских дней он узнал, что в Будапешт вошли советские танки. А было это как раз на студенческом вечере, посвященном какой-то годовщине октябрьской революции. Володя расстроился, с горя ”набрался” и стал бродить среди танцующих, пытаясь вызвать у них сочувствие к венграм и осуждение акции ”освобождения венгров от внутренней контрреволюции”, но натыкался на пожатие плечами, равнодушные или страх высказать осуждение. Вскипев негодованием против окружающих и терзаемый болью за любимых венгров, поднялся он в университетскую радиорубку, включил приемник, нащупал зарубежную радиостанцию и опять услышал о ”подавлении контрреволюции в Венгрии”. Жестокий контраст поразил его: тут танцуют, а там гибнет свобода... Он включил радиотрансляционную сеть университета и закричал в микрофон: ”Танцуете, сволочи! Там гибнут наши братья, восставшие за свободу, а вы танцуете!” Затем он включил на полную мощность динамика зарубежную радио-

волну, и в университетскую сеть понеслись комментарии "из-за океана" о событиях в Венгрии. Через несколько минут в радиорубку ворвались дружинники и вытащили Володю оттуда. И вот — семь лет. Нашлись и рукописи, и единомышленники. Володя тогда был на последнем курсе радиофизического факультета. Конечно, страшно жалел, что до посадки не успел хотя бы закончить университет. Но смирился с судьбой и уже шесть лет стоически несет бремя неволи. Он скромен, молчалив и сейчас больше слушает Сергея Пирогова, чем говорит сам.

Ко мне наклоняется сосед — Эдуард Кузнецов: "Давай пройдем до барака Миши. Сильно задерживается... Может, что-то случилось?" Мы с Эдиком и Виком поднимаемся и уходим, предупреждая остальных, что идем за Мишей Молоствовым.

Кузнецов<sup>25</sup> — москвич, учился на философском факультете Московского университета. Был арестован на полгода раньше нас. Он вместе с Галансковым<sup>26</sup>, Гинзбургом<sup>27</sup>, Осиповым<sup>28</sup>, Бокштейном<sup>29</sup> и Буковским<sup>30</sup> успел издать всего лишь один номер художественно-литературного журнала "Феникс"<sup>31</sup>. Кроме того, они устраивали чтение стихов молодых поэтов на площади Маяковского в Москве. Появились слушатели, стала собираться молодежь, зазвучали туманные, двусмысленные, неприятные для милицейского уха стихи, затем начались подозрительные дискуссии, и, как и следовало ожидать, все это завершилось крамольными речами. Милиция и здоровые парни-дружинники в кожаных куртках несколько раз разгоняли этот московский вариант Гайдпарка, а под конец зачинщиков погрузили в подъехавшие к площади "черные воронки".

...По дороге к бараку мы догадались заглянуть в каптерку<sup>32</sup> и увидели кучу ментов, развороченные вещи и Мишу Молостова, философски созерцающего суетящихся, копящихся в его бумагах, книгах и тряпках ментов. Так и есть — Мишу "шмонают"<sup>33</sup>.

Возвращаемся к беседке, а там стоит надзиратель. Уви-

дев нас, недовольно ворчит: "Ну вот, еще из той же компании — Кузнецов, Мурженко и Балашов. Давайте, давайте, расходитесь подобру-поздорову, а то сейчас отведу на вахту, и начальник суток десять ШИЗО выпишет каждому". Балашов немедленно вскипает: "Что ты, Швед, слушаешь этих подлых полицаев! Мы собрались тут кофе попить. Давай, уходи отсюда, не мешай нам отдохнуть в выходной по-человечески. Сегодня же воскресенье. Завтра со свежими силами выйдем на работу — на твое же пузо будем работать и на благо твоего начальничка".

Швед<sup>34</sup> был матерым ментом, еще старой, бериевской закалки. Он, не скрывая, тосковал по старым временам произвола администрации в лагерях. Тот минимум законности и прав, который соблюдался в лагерях 60-х годов, приводил его в неописуемое удивление и даже порождал в нем — в менте — своеобразный иронический взгляд на современность.

Так и сейчас: вместо того, чтобы орать на Вика, он вдруг стал иронизировать:

— Ты дывись, оцэ так дывына! Ты шо ж, за начальника будешь распоряжаться? А ну — геть видсея, марш по баракам!

Но мы уже уселись пить кофе, бросив мимоходом Шведу:

— Давай, давай, Швед, иди, отдыхай! Не торчи тут! Кофе, что ли, хочешь? Мы же знаем, ты его все равно не пьешь, так что приглашения за стол не дождешься.

Швед крякнул, потом ругнулся, потом угрожающе заворчал:

— Ну шо ж, питайтесь. А закусывать вы будете в карцере: четыреста грамм хлеба и кипяток, — и пошел на вахту за подмогой.

Через несколько минут в зону ввалилась куча солдат во главе со Шведом. Нашу компанию быстро разогнали, а троих "грубиянов" — Балашова, Кузнецова и меня — Швед забрал на вахту.

Уже через полчаса мы лежали на голых нарах в штрафном изоляторе, а на следующий день акция мента была

оформлена постановлением начальника лагеря: нам зачитали документ о водворении каждого в карцер на пятнадцать суток.

\* \* \*

В феврале<sup>35</sup> 1963 года Виктор Балашов бежал с группой эжков из седьмого лагеря — их было, вместе с Виктором<sup>36</sup>, пять человек.

Ребят половили, добавили всем к сроку по три года тюрьмы, заменили строгий режим на особый<sup>37</sup>, одели в полосатые робы<sup>38</sup> и отвезли отбывать эти три года во Владимирскую тюрьму.

Вскоре "за нарушение режима в лагере" на три года во Владимирскую крытку отправили и меня; правда, общий срок заключения не увеличили (об отправке во Владимир я еще напишу тебе). Там мы случайно столкнулись с Виком: меня вели на прогулку, а Вика переводили в другую камеру. Он шел с матрацем в руках, бледный, в полосатой робе. Мы бросились друг к другу, нас стали растаскивать менты. Образовалась свалка. Менты рычали. Мы орали друг другу: "Держись, брат, мы еще увидим лучшие времена. Будет и на нашей улице праздник". Наконец менты затащили меня в камеру, я лег на койку и тут почувствовал, как меня начинает колотить нервная лихорадка — точно такая же, как четыре года назад во время чтения обвинительного заключения. Меня колотило от озноба...

Это был последний раз, когда я видел Вика.



## Глава седьмая

Взявшись за перо, я собирался прежде всего поразмыслить о "новых людях", существование которых обнаружил не в газетах, книгах, радиопередачах, а в лагерях Мордовии. Феномен "новой личности", уловленный мною в Мордовии, распространен, конечно, и на воле — в социально-политической и духовной жизни всего общества. Но стихия воспоминаний — на то она и стихия, чтобы существенным для нее было только то, что вспоминается, — так вот, стихия воспоминаний останавливает меня не на размышлениях о "новых личностях", их истоках и перспективах, а на подробностях самой лагерной жизни, на собственно мемуарных эпизодах и ситуациях. Что ж, с памятью не поспоришь...

Все-таки сначала немного и порассуждаю.

Не случайно я поставил главной целью — изобразить "новую личность": давно думаю о ней, о человеке, бросившем вызов заданности социально-политического существования.

В принципе "человек бунтующий" свойственен любому оформившемуся идеологически и структурно обществу. Но у нас вехой для его бытия, более того, одной из самых значительных дат, почти что датой его рождения стал XX съезд КПСС с его разоблачением Сталина.

Мы рассматривали XX съезд как завершение становления нашего общества, как итог и воплощение легендарного социалистического замысла. Естественно, когда замысел наконец воплощен в формы жизни, хочется сравнить созданное с планом, мечтой, идеей.

Сравнение же — озадачивало. Мы читали, конечно, что

история вообще вещь ироническая. Однако ирония — иронией, но неужели *это* вообще все то, чего только и можно добиться? Тогда — на что в принципе способно человечество? Что есть человек и чего он достоин? Неужели, ниспровергнув все старые идеалы и прежние божества, отрекшись от тысячелетних накоплений духовной культуры человечества, пойдя даже на *такой* немислимый риск, немислимые жертвы плоти и духа, он достоин получить *такое* вот существование?

В результате сопоставления программных установок с построенной действительностью мы решили, что:

социализм был подменен государственным капитализмом, и государство стало совокупным и монопольным капиталистом;

диктатура пролетариата, уничтожив старые эксплуататорские классы, породила "новый класс", правящую элиту, единственной целью которой является — власть как таковая;

духовные и культурные ценности, отвергнутые восставшим пролетариатом, являются подлинными ценностями человечества, без которых невозможен прогресс и общество обречено на гибель, духовную и нравственную.

Так рассуждали, к таким заключениям приходили многие молодые люди нашего поколения — это все типологические, общехарактерные черты их мировоззрения. Но пока выработывались, вынашивались перспективы выхода из кризиса несвободы, "недреманное око" некоего Аргуса замечало сих "возмутителей спокойствия", и перед ними открывалась перспектива быть заживо погребенными в стенах тюрем и за колючей проволокой лагерей.

Но эти же лагеря оказались для молодых людей их университетами.

Тут, в лагере, накопилась за годы богатая и редкая литература по всем отраслям общественных знаний.

Тут встречались единомышленники, с которыми можно обсуждать все те же проблемы — от появления "нового класса" до "ненасильственного бойкота тотальных режимов

представителями интеллигенции” (впрочем, теперь в размышлениях ”нового человека” появилось куда больше, чем раньше, нигилизма, а мысли его облекались в более абстрактные формы). Человек остается ”мыслящим тростником” даже в лагере строгого или особого режима.

Помню, особенно остро и долго мы размышляли о ”новых людях”, рожденных нашей эпохой, когда собрались обсудить недавно напечатанную повесть А.И.Солженицына ”Один день Ивана Денисовича”.

Тут можно к месту изложить маленький лагерный курьез.

Уже после того, как все эки, подписавшиеся на ”Новый мир” (таких было немало), получили одиннадцатый номер журнала за 1962 год, одному из них — помнится, Эдуарду Кузнецову — выслали из дома этот же номер бандеролью. Оперативная часть имела ”оперданные”, что в зоне ходят разговоры о некоей повести, где описываются лагеря. Администрация постановила: бандероль для Кузнецова конфисковать. Эдик долго убеждал начальство, что конфискация бессмысленна — на зоне уже достаточно экземпляров, полученных легально, по подписке, но журнал ему так и не отдали: управление ”Дубровлага” твердо решило, что распространение этой повести в его владениях нежелательно.

Впрочем, что управление!.. Даже мы, эки в зоне, и то не понимали, как *такую* повесть допустили в печать. Судили-гадали и связывали с надеждой на либерализацию цензуры. Так, конечно, думали оптимисты. Скептики же твердо говорили, что перед нами случайность и редактор Твардовский еще поплатится за свой либерализм.

И вот наконец мы собрались в небольшом холодном бараке поговорить о повести Солженицына. Как всегда, возникает ”меньшинство” и ”большинство”.

— Такие повести вредны, — парадоксально высказался представитель ”меньшинства”. — Вредны, потому что говорят полуправду... (Он подразумевал, что в повести не сделаны прямые социальные выводы об истоках трагедий, подобных трагедии Ивана Денисовича.)

— ... Читатель думает, что это вся правда, окончательная правда, — и она не так уж страшна. Во-вторых, читатель обманывается, наподобие того, как наши оптимисты: думает, что если говорят открыто о правде лагерей, то, значит, сейчас такого явления уже не существует, ошибки прошлого исправлены и больше не повторятся. В-третьих, читатель как бы заверяется, что все обстоит хорошо, с исправлением положения разберутся без него, все, что достойно быть подвергнуто критике, будет раскритиковано и потому ему, читателю, нечего суетиться под ногами ЦК и соваться со своей любительской критикой — свобода и демократия восторжествуют и без его участия.

— Твой вывод?

— Раз всю, полную, без оговорок и умолчаний, правду говорить нельзя, то лучше не говорить и полуправду. Иначе — хочешь ты или не хочешь — получается сотрудничество с властью в интересах лжи.

Тут я должен оговорить, что наше предыдущее "незаконное сборище" было посвящено как раз проблеме поведения интеллигенции в тоталитарном обществе. Тогда сегодняшний "представитель меньшинства" доказывал, что если интеллигенция откажется поддерживать тоталитарный строй, то он будет вынужден в конечном итоге приспособиться к настроению интеллигенции, идти ей на уступки и, в конце концов, либерализовать общественную жизнь — поначалу, естественно, в рамках существующего режима, но постепенно такой либерализованный режим переродится в демократическую структуру власти. Это, разумеется, была утопия, старая Идея, пытавшаяся спасти свое будущее неожиданной ссылкой на победившее движение гандизма. Так что сегодняшние его выпады против повести Солженицына мы понимали, что называется, с полупамятка.

— Повесть исключительно полезна, — возразил представитель большинства. — Доказывается это просто. У молодежи нет никакого представления о сталинских лагерях — мы знаем это по своему прошлому: многие или ничего не слы-

шали о них, или слышали, что там сидели враги народа. Повесть заставляет задумываться — что такое лагеря, кто в них сидел и, главное, что изменилось сегодня в этой системе. Это относится к объектам ее прямого воздействия — читателям. Но есть объекты косвенные — другие писатели. Они ведь тоже люди и тоже хотят писать хорошо. Те из них, кто прежде чем садиться за сочинение "романа-эпопеи", штудировали годовой комплект "Блокнота агитатора", могут теперь осмелеть и выдадут что-нибудь "на-гора", кроме иллюстраций к этому "Блокноту"...

Не помню всех подробностей спора вокруг повести А.И.Солженицына, да они и неважны: содержание ее казалось настолько близким каждому из нас, что обсуждать, дискутировать, собственно, было не о чем. Поэтому довольно быстро спор переключился с "Одного дня" на "новую личность", "критически мыслящую личность" — критически мыслящую по отношению к существующему порядку вещей.

Быстро наметились общие для всех пункты в дискуссии. Все были согласны, что сейчас в нашем обществе формируется "новая, критически мыслящая личность". Это факт. Но — кого можно отнести к числу таких личностей? — вот первый вопрос. Одни утверждали, что критически мыслящие личности сидят в лагерях за открытые выступления, ну, можно приплюсовать к ним "вынашивающих намерения" действовать критически. Другие возражали: "новая личность" — это любой человек, критически переосмысливающий официальную идеологию. Людей таких много и на воле. Еще недавно все мы знали только одно учение — марксизм, читали книги только марксистского толка. Сегодня молодежь начинает осваивать мировую культуру и духовные ценности вне круга материалистически-марксистских...

Поэтому "новыми личностями" могут быть и марксисты с "человеческим лицом", и христиане, материалисты и идеалисты, они могут поклоняться Моисею и Будде, увлекаться йогой или фрейдизмом — объединяет их одно: отрицание тоталитаризма и демократическое кредо. Те, кто от-

вергает тоталитаризм, они-то и являются новой, "критически мыслящей личностью".

Сторонник узкого, "лагерного" варианта осторожно заметил: "С семнадцатого года большевики обещали, что создадут "нового человека". Что ж, сегодня он наконец есть — в лагерях".

— Ну, они не такого "нового человека" хотели создать. Да и не они нас создали...

— Как сказать! Именно большевистская попытка сотворения "нового человека" привела к тому, что в России самопроизвольно появилась "критически мыслящая личность".

Совершенно неожиданно эта вскользь брошенная мысль вызвала бурю со стороны одного из эзков — Б.С.<sup>1</sup> Он спонтанно прочитал целый доклад, содержащий его собственную теорию об историческом возникновении "критически мыслящих личностей" (или "новых людей"), во все эпохи, через которые прошло человечество. Основным тезисом его стихийного выступления, в котором, видимо, были изложены итоги многолетних размышлений Б.С., стал вывод: "новый человек" создается обязательно в результате смены формаций, но он вовсе не обязательно лучше старого. Более того — часто "новый человек" бывает вовсе не таким уж новым!

— Невозможны стабильные, гармонические отношения в каком бы то ни было обществе! — рубил Б.С. — Это обусловлено извечным законом противоречия интересов у людей. Каждый человек автономен в своем бытии и отличается от других. В обществе эти противоречия личностей отражаются в форме экономических, культурных, политических, религиозных и прочих конфликтов...

По его словам, выходило, что разрешение этих неизбежных, вечных, присущих самому существованию человека противоречий на каждом этапе протекает в форме, обусловленной законом отрицания отрицания (по Гегелю) и законом естественного развития. Каждое общество должно не-

избежно пройти свое детство, расцвет, старение и — возрождение в новой форме.

— Даже китайское общество, самое устойчивое в мире, не смогло избежать действия этих законов в его недрах. Неизбежно должны рушиться общественные структуры и иерархические формы, неизбежно порядок вещей должен переходить в новый. Всюду: в Древнем Риме, в королевской Франции, в царской России устоявшийся порядок ограничивал поток энергии нового человека, созревшего в глубинах этих обществ, и напор новых людей оказался так могуч и массивен, что системы рухнули. Пророки, организаторы и создатели нового, закладывали фундаменты нового общественного здания, расчищая место для него жестокими методами, вырубая под корень всех и вся.

Особенно врезалось мне в память его выражение: "Общество играет в чехарду". Подразумевалось вот что: в переломные моменты истории вечные, неизменные драматические конфликты между "новыми людьми" и устоявшимся историческим порядком перерастают в конфликты трагические: по ходу исторического действия реками льется кровь и гремят проклятия. На смену прежней личности старого общества приходит новая личность нового общества, но — лишь затем, чтобы через некоторое время быть отвергнутой тем обществом, которое она же вызвала и утвердила. Это он и называл "игрой общества в чехарду личностей".

— Но вот что получалось в итоге. В период общественного переворота устранялся не только старый фундамент, уничтожались не только носители старого образа жизни — нет, разрушался самый стереотип личности, самые условия, которые ее питали. Так было всегда. Что выходило? Семя идеи предполагалось выращивать в новой почве, к уничтожению старых ценностей относились как пахарь относится к вспашке: предполагалось, что на перепаханной сверху донизу почве старых отношений новое зерно даст новые плоды, новую систему общественных ценностей, новую культуру. Забывалось, что и в природе от посева до жат-

вы нужно долго ждать! А в обществе, где новое семя сажали в перепаханную почву, ждать приходилось очень долго. И в итоге человек оставался с голой, неукорененной идеей перед лицом естественных потребностей природы, диких первобытных инстинктов, определявших отныне его поведение. Система как бы выростала на ложном основании, разрушая общечеловеческие ценности и умерщвляя прежний стереотип созидательной жизни. И всегда — всегда! — первым плодом этого переворота становилась государственная машина, а беспомощный человек, вырванный из почвы, — потому что все, кто не усвоил нового строя отношений, устранились из жизни, во всяком случае, из общественной жизни, вместе с умерщвленной старой культурой — этот беспомощный новый человек превращался в винтик государственной машины. Если взять, к примеру, наше общество, то хотя прежняя культура в революцию отвергалась как почва для нового человека, но ведь новой, пролетарской, так и не удалось вырастить, ее официально отбросили<sup>2</sup> — и что же осталось основой, почвой для человека? Вечная, старая культура, только ампутированная в ее лучших проявлениях, и потому — мещанская...

— Но ведь государство, получив в распоряжение все рычаги, могло потом достроить соответствующее общество с новой культурой, — напоминает кто-то известные тезисы двадцатых годов.— В твоих рассуждениях пока нет нового. Собственно, так все и делали — строили государственную машину, а уж потом оформлялось новое общество.

— Да, я знаком с этой концепцией. Но ее автор<sup>3</sup> упустил из виду, что созданная им государственная машина из посредника между людьми и социальными группами вырастет в самодовлеющий организм, вбирающий, интегрирующий всех членов общества в свои функциональные органы. Человек начинает существовать только в системе государственных отношений и лишается своего автономного социального бытия...

— Ну, это уж ты загнул...



— Я, естественно, не принимаю в расчет отношения, не имеющие общественного значения и ценности — они остаются в виде рудиментов в сфере частных отношений. Но в целом — человек становится функцией Левиафана<sup>4</sup>: государственной функциональной машине он нужен лишь как специалист в определенной сфере ее социально-производственного комплекса. Все усилия государства, вся энергия его членов отныне подчиняются задаче развертывания и материализации победившей новой идеи в победную систему новых общественных отношений. Наконец, наступает эпоха стабильного развития созданного социального организма: период "бури и натиска" кончился. Что получается в итоге? Государству самодовлеющие личности принципиально не нужны, автономный круг нравственных и духовных ценностей ему противопоказан, "новые люди" нового общества являются самостоятельными гражданами лишь номинально. Старая культура, прежняя система духовных и личностных ценностей стерта с лица земли, и лишь кое-где уцелевшие ее обломки и отбросы свезены в музеи, никем не посещаемые, кроме школьников. Но — возвращаемся к началу — гармонического развития не может дать человеку ни одно общественное устройство в силу самих природных свойств человека. И вот, когда новое общество вроде бы живет-поживает, добра наживает, внутри него появляется новое поколение, составленное все из тех же изначальных, автономно мыслящих и чувствующих существ, выделение энергии которых и столкновения между коими более не поглощаются гигантскими энергетическими запросами строящейся государственной машины. И люди нового поколения, прослышав, что существовали старые, отвергнутые духовные ценности, бросаются на их поиски. В библиотеках, музеях и частных собраниях откапываются произведения старой культуры, и начинается процесс осознания общественной ситуации в ее подлинной исторической перспективе. Семьсот лет назад этот процесс называли Ренессансом; в прошлом веке — Романтизмом; как он будет называться в России XX века —

нам неизвестно. Но — это дополнительный фактор — от до-революционного прошлого России неизбежно перекидывался мост и к современному культурному миру Запада. Тут новый человек обнаруживал, что буржуазный мир не только не сгнил, как уверенно предсказывали и даже определяли великие футурологи, но древо его материальной и духовной культуры продолжало плодоносить. Я намеренно упрощаю ход процесса формирования новой, критически мыслящей личности в новом обществе, я отказываюсь от рассмотрения социально-политико-экономических, международных и конкретно-исторических факторов...

Это он добавил, заметив протестующие выражения на лицах оппонентов, готовых ринуться в спор, не дав ему договорить...

— ...Подведем итог. Система, утверждавшая себя отвержением старой личности, принесла огромные материальные и духовные жертвы на свой алтарь. И все-таки итогом ее борьбы неизменно, всегда в истории, становился бунт "нового", созданного ею человека, отвергнувшего новые ценности и обратившегося к старым и извечным, обещавшим ему восстановление человеческого достоинства, подлинную духовность и нравственность, свободу развития личности. В среде "новых людей" обязательно появлялась "критически мыслящая личность", заявлявшая о своем праве на жизнь, и — цикл исторически-диалектического обновления начинался сначала!

Одному из слушателей Б.С. его достаточно проблематичная концепция понравилась, но изложение показалось слишком уж абстрактно-историческим. В.Т.<sup>5</sup> решил конкретизировать тезисы неожиданного докладчика, четко приложив их именно к ситуации нашего поколения.

Да, он, В.Т., согласен, что в современном советском обществе существуют два типа людей: один тот, которого называли здесь "новым человеком", т. е. человеком, созданным в результате революционного переворота 1917 года, и другой — "новая", или же "критически мыслящая лич-

ность". Последний тип пока еще очень малочислен. Кажется, что между обоими типами — пропасть. Но нельзя упускать из виду, что "критически мыслящие личности" не родились такими на свет Божий, а переродились именно из изрядно проржавевшего "нового человека". Выражаясь не категориями Б.С., а общепринятыми, "новый человек" — это конформист, принявший беспрекословно заданную от рождения реальность, а "новая, критическая личность" — нонконформист. В чем особенность таких личностей в нашем поколении? Во-первых, у нас нет предшественников...

— Конечно, среди прежних поколений тоже имелись нонконформисты, это закон и обычной и социальной психологии. Но в их время они все были изъяты из обращения в обществе и изолированы в места не столь отдаленные славными компетентными органами. Мы, кстати, отвлеклись от текста обсуждаемой повести, а — напрасно. "Один день Ивана Денисовича" очень важен для понимания того, почему мы так одиноки и оторваны от исторических корней. Мы видим, как в тогдашних зонах было одиноко, голодно, холодно, и для тех, кто возвращался из тех мест, вопрос о конформизме или нонконформизме не мог стоять — дожить бы век в тепле и сытости! Нонконформисты были выполоты с общественного поля, как сорняки, и общество собирало урожай чистого конформизма...

— А сам Солженицын! — влезает кто-то из слушателей.

— Исключительное явление лишь подтверждает правило. Но вот наступила оттепель<sup>6</sup>, и выяснилось, что в почве все же сохранились старые семена нонконформизма, хотя еще очень редкие и слабые. После пятьдесят шестого года у людей пробудился голос совести, зашевелились мысли в истощенном, но ждущем духовной пищи уме, а у молодежи стало искать выход критическое чувство отношения к действительности.

— Почему же здесь нас так мало?

— Потому что лишь единицы способны преодолеть конформизм не в сознании, а в поступках. Слишком это опас-

но. И мне, например, очевидно, что этот разрыв между требованиями пробудившегося сознания и опасностью бесполезно погибнуть, как погибли нонконформисты предыдущего поколения, приведет, в конце концов, к качественному изменению тактики нонконформистов. В недалеком будущем "критически мыслящие личности" станут направлять свои действия на реализацию тех прав и свобод, которые уже записаны в ныне действующей конституции СССР. Только так можно жить и действовать, принося реальную пользу обществу. Обратитесь к примерам из мировой истории. Она говорит, что настоящий прогресс и совершенствование общественных отношений достигается не в итоге разрушительных революций, не тотальным отрицанием старого, а реформизмом, духовно-нравственной эволюцией в сознании людей. Говоря проще: система — это люди. Нужно делать духовно совершенных людей — тогда усовершенствуется общество.

Тут прозвучала реплика: "Все это хорошо, но как ты будешь человека в этой системе делать лучше, если сама она устроена так, чтобы он становился хуже. Твоя идея, как Архимедово бахвальство, — не имеет точки опоры". Но мысль, что "система — это люди", подхватил еще один из дискуссионтов<sup>7</sup>.

— С семнадцатого года предприняли огромную попытку создать нового человека, и, кажется, успешно: такой человек создан. Но — лучше ли он того, который ушел в историю, на костях которого произрос? Нет! Более того, он и не может быть лучше прежнего, ушедшего человека, — принципиально не может. Потому что главная его особенность — забота о материальных ценностях, не о духовном мире. Посмотрите на популярные рассказы для молодежи, которые печатаются даже в отрывных календарях, в журналах и книгах, — о чем они? О том, как человек отдал жизнь, пожертвовал ею — ради чего? Ради спасения самолета или трактора, ради спасения горящего вагона с зерном, иногда — ради выполнения нормы и плана на производстве. Люди переста-

ли ценить и уважать в себе и в другом человеке человека, а не производительную силу: человек смотрится успешным или неуспешным придатком к машине, трактору, механизму, вообще к занимаемой в обществе должности. Все это привело, во-первых, к отчуждению людей друг от друга, во-вторых, к эгоизму. Но официальная идеология не поощряла и, наоборот, осуждала эгоизм и требовала самоотверженного труда на благо общества. Это противоречие между неотвратимо и стихийно рождавшимся эгоизмом и официальными требованиями снималось в обществе всеобщим лицемерием. Ладно, хватит мне теоретизировать, расскажу вам случай из жизни. Я был знаком с одной прославленной "героиней трудового энтузиазма". Из той же компании, что Стаханов, Паша Ангелина<sup>8</sup> — о ней почти так же, как о них, много тогда писали в газетах и воспевали ее по радио, как новый тип человека, социалистического альтруиста, всего себя отдававшего труду на благо других людей. К сожалению, и моему тоже, это была неправда. Женщина имела рабочую хватку и для себя, как всякий нормальный человек, хотела заработать побольше, потому и начала работать сверх нормы. Молода была, сил много, тут ее подхватила волна популярности — сами знаете, на молодого человека похвала действует сильно, а тут ей дали славу на всю страну — конечно, работала она изо всех сил, как могла. А дальше — обратная связь: раз она перевыполняет нормы и прославилась, ей стали в цеху создавать исключительные условия для "трудо-вого подвига", каких у товарищей не было... А я столкнулся с героиней-подвижницей в домашней обстановке. Как раз наступал Новый год, и она по-бабьи, очень искренне жаловалась, что вот, мол, у тех, "напротив", к праздничку и мясо хорошее будет, и свежие помидоры, а "нам где взять?". И пошли стандартные бабьи жалобы на быт, сдобренные и горечью, и завистью. (Напротив, между прочим, помещался обком партии.) Ничего общего не было с тем, что она говорила на собраниях и на публике, — ни альтруизма, ни заблуждений насчет истинного характера тех — "напротив".

Вот тогда я задумался, в чем же вред публично проповедуемого альтруизма? Казалось бы, хоть и не исполняются альтруистические заповеди, но уже то, что их проповедуют, — все-таки на пользу! Но — что получается в обычной жизни? Когда человек жил только для себя, как в прежние времена, но при этом и говорил это же и не лицемерил, то, если жизнь его складывалась удачно, у него возникало естественное человеческое желание испробовать новое, неизвестное ему — пожить не только для себя! Теперь же часто происходит обратный процесс: человек хвалится, что живет для общества, для народа, — без таких заявлений ему не пробиться вверх, к жизненным благам. Но на самом деле он лицемерит и перестает уважать и ближнего, и дальнего, и самого себя. Так возникает бездуховный цинизм...

Примерно так говорил Виктор Балашов. Передохнул, сделал два глотка из чашки с кофе и продолжил:

— Мы — не будем излишне скромничать, — мы являемся новыми личностями в нашем обществе, выросшими из отрицания лицемерия. Это вовсе не значит, что мы идеал, хоть в какой-то мере: мы выросли в этом обществе и несем в себе многие его пороки. Мы невоспитаны, некультурны, отчуждены друг от друга, у нас шаткая вера, духовная скудость, весьма относительная нравственность. Наше единственное достоинство — в стремлении преодолеть плесень и вырваться из этой паутины. Автор повести "Один день Ивана Денисовича" как раз является образцом того типа "личности", каким мы все хотим стать, и чем больше будет в России таких людей, тем быстрее произойдет демократизация жизни общества и совершенствование всей общественной системы...

— А ну расходишь, скубенты! — раздается рывканье у входа. Швед, паскуда, опять появился, вызвали его с вахты, заметив нашу компанию. — Плачет по вам штрафной изолятор!..

Так мы и не успели договорить до конца.

Здесь я вынужден забежать вперед на несколько лет, чтобы не дробить разговор о "новой личности". Вскоре меня осудили вторично и отправили на три года во Владимирскую крытую тюрьму. Оттуда я вернулся в шестьдесят седьмом году не в свой прежний лагерь, а на одиннадцатый. Увидел там много новых людей — одиночек и представителей разных групп: на одиннадцатом сидел Андрей Синявский<sup>9</sup>, члены ленинградской группы Ронкина — Хахаева<sup>10</sup> и масса других. Кроме того, я познакомился и с украинцами нового поколения, которым свойственны были те же процессы духовного возрождения личности, что и молодым русским: это, прежде всего, члены группы Л. Лукьяненко<sup>11</sup>, группы Квецко — Красивского<sup>12</sup>, группы Гринько<sup>13</sup>, а также украинские "шестидесятники"<sup>14</sup>. Были тут и прибалты, и группа армян<sup>15</sup>.

Люди разных национальностей, разного социального происхождения (писатели, студенты, учителя, рабочие, научные сотрудники и юристы, крестьяне и даже иногда бывшие чиновники), разного культурного уровня и традиций, разных убеждений и верований, они все проявляли общие, типологические черты — те самые, которые когда-то мы определяли на тайной сходке. Кажется, самое главное в развитии новой советской критически мыслящей личности было вычислено нами верно.

## Глава восьмая

Меня вызвали на совместное заседание секции внутреннего порядка (СВП) и совета коллектива отряда (СКО). Мой отрядный начальник, старший лейтенант с лошадиным лицом и жидкими белыми волосами, укоризненно-сурово вперял в меня взгляд, натужно изображая воспитательную мину на физиономии. Он один сидел посредине, за столом, покрытым грязной красной тряпкой, а члены — "граждане осужденные", пожилые угрюмые полицаи, сидели вдоль стен на шатких стульях. Нет, буду точным: в этой компании одиноко торчал и некто из "молодых", прыщавый юнец, "твердо вставший на путь исправления", ибо совсем недавно он осознал, что мир не переделаешь, а приспособленцы всегда будут наверху, и лучше быть "примкнувшим"...

Отрядный перечислил мои "грехи" перед лагерным режимом и завершил: "Вот ответ перед советом коллектива, Мурженко, когда ты встанешь на путь исправления и вольешься в коллектив для честного труда и исправления. Вот твои товарищи по коллективу, граждане осужденные, — может перед ними ты осознаешь безобразность твоих нарушений трудовой дисциплины и режима. И предупреждаем тебя: пора бросить компанию Кузнецова и Молоствова, этих неисправимых элементов, чуждых здоровому советскому духу. Вот ответ перед своим коллективом, перед товарищами, вставшими на путь исправления..."

— Вы что, издеваетесь надо мной?! Это комедия? Какие это мои товарищи?!

И тут же резко поднялся самый молодой, еще плотный полицаи, закованный в кожаную куртку, суконные штаны-



галифе с огромными кожаными нашивками на коленях и на заднице (это привилегия для холуя-щегооля — явное "нарушение формы одежды", дозволяемое начальством в награду), грузно скрипнул с пятки на носок и обратно кожаными сапогами. Подобострастно изогнулся к начальнику:

— Разрешите?

Затем распрямылся, метнулся ко мне и заговорил:

— Как ты смеешь так разговаривать с начальником! Ты еще должен заслужить право называться нашим товарищем! Мы все здесь, вставшие на путь исправления, боремся за исправление остальных осужденных. Мы не самозванцы какие-то, нас избрал коллектив. Наш отряд завоевал переходящее красное знамя в социалистическом соревновании. Мы не жалеем сил и труда для блага родины. Тут сидят лучшие люди отряда, и они будут тебя учить, и мы тебя научим уважать...

— Ты, псина полицейская! — не дал я договорить. — Холуй подлый! Тебе мало влетело от Эдика<sup>1</sup>, хочешь от меня получить? В немецких концлагерях над людьми издевались, и сейчас на старое тянет?

Полицай инстинктивно подался ко мне, будто намереваясь схватить за глотку, но вдруг порыв его погас, и, сделав нерешительный шаг ко мне, он оглянулся на отрядного:

— Товарищ старший лейтенант! На первый раз пятнадцати суток карцера с него хватит. Совет коллектива ходатайствует перед администрацией... Надо не словами на него, а по животу. Пусть костями посушит штрафной изолятор.

У отрядного на скулах выступили красные пятна:

— Садитесь, Мороз. Придется, действительно, тебе посидеть, Мурженко. Молод ты, жалковато тебя, но ты сам будто просишься в карцер. Вот и с товарищей своих, граждан осужденных, вставших на путь исправления, — отрядный покосилась в сторону полицая Мороза, ему не понравилось, что тот обращался к нему со словом "товарищ", — не хочешь брать пример. Что это за "холуй", "концлагеря"... Вы для нас делитесь на вставших на путь исправления и не вставших на путь исправления...

— Гражданин старший лейтенант! Я считаю издевательством над своим человеческим достоинством и этот совет коллектива, и его якобы воспитательные полномочия. Прошу вас больше не вызывать меня на этот шабаш вурдалаков! — тут я повернулся ”кр-ру-гом!” и пошел к двери.

Полиции заскрипели стульями, что-то замычали, отрядный кричал вслед: ”Вернитесь, Мурженко, я посажу вас в карцер!” Но я уже открыл дверь...

Отрядный вскочил с места и бросился за мной: ”Я сейчас прикажу привести тебя сюда в наручниках!” — орал он, выбегая следом узкими сенями на крыльцо барака...

Насколько я понял его, это был вспыльчивый, но отходчивый и незлопамятный мужик. Ему уже было лет под пятьдесят, карьеру строить в такие годы невозможно, и потому к заключенным он относился ”без темперамента”. Тогда я не ценил его, только потом, получив возможность изучать многочисленные варианты тюремно-лагерных церберов, понял, что был мой отрядный — незлобив. И хотя в тот раз посадил-таки он меня в карцер, но делал это без садистского удовольствия. Не раз он сажал меня и позже, и все-таки я вспоминаю его добром — хотя бы потому, что, когда был суд по оформлению мне тюремного приговора, он на суде, в моем присутствии, просил мне минимум наказания — год Владимирской тюрьмы.

Но справедливый суд, выслушав меня, решил, что я достоин высшей из доступных ему мер — трех лет. И, напоминая, с шестьдесят четвертого до шестьдесят седьмого года я провел во Владимире.

Добром вспоминаю я сегодня моего первого отрядного начальника: за все шесть лет тюрем и лагерей моего первого срока это был самый человечный администратор.

\* \* \*

Здравствуйте, дорогие мои Любонька и Анютка!

Сегодня 24 декабря, пятница. Если не получу сегодня

твоего письма, любимая, значит — не получу его до понедельника: в субботу и воскресенье цензор выходной... С письмами скандал. Дело дошло до того, что мне пришлось изображать йоговскую позу "прилипший живот"<sup>2</sup>, чтобы убедить цензора отправить тебе письмо. Теперь не знаю, дошло ли, ибо квитанция на отправку письма — еще не стопроцентная гарантия. Поэтому жду от тебя весточки... Как вы там? А тут сны стали сниться тягостные. При таком положении письмо — единственное, что связывает со свободой, разрывает сжимающееся кольцо небытия, — стены неволи.

...Письмо есть письмо, пустая забава, но к моим письмам за границу стали придирааться... да и вообще письма стали объектом внимания и в них, конечно, выискивают то, чего в них нет и быть не может. Но не лишать же себя удовольствия поболтать с тобой. И вообще я хороший, пишу для себя, никого не трогаю. Мир живет как хочет, люди говорят в свое удовольствие, обсуждают приятные события и даже неприятные, если о них приятно поговорить. А я что — хуже других? Я так же устроен, как все, и у меня есть центр речевого удовольствия: ты меня хлебом не кормишь, начальник, — хорошо, но тогда дай поговорить, ибо на человека в иные минуты находит такое, что его хлебом не корми, а надо поговорить. Ему уже руки вяжут, рот затыкают, а он все не может остановиться. Я даже думаю, что большинству людей и неважно, о чем и как говорить, со смыслом или околесицей, лишь бы поговорить...

Вот тебе один из редчайших, но поучительных случаев моего прошлого, происшедший в худшие годы и в самом худшем месте отбывания наказания (кроме моего теперешнего<sup>3</sup>) — во Владимирской крытой тюрьме.

Было это в годы моей юности, и не в моей камере, а в соседней с моей, но я все точно знаю, что у них было. По прибытии из лагеря на "перевоспитание" во Владимир эков сажают на первые месяцы на "строгий режим", или, как там это официально называется, — на "карантин", а попросту — на пониженное питание. Все мы, свежие этапники, были моло-

дые, энергичные парни, способные есть — не преувеличиваю — целыми днями. Увы, кушать было нечего. Поэтому целыми днями мы читали, писали или... думали о еде. Кому как удавалось! А некоторые щеголяли оригинальностью.

Один ээк<sup>4</sup> из соседней камеры выбросил тогда лозунг: "Не делайте из еды культа!" (При этом, аргументируя, до чего может довести заключенного желание есть, напоминал про ээка первых послевоенных времен, военнопленного немецкого офицера, который собирал по окончании трапезы со стола головы и косточки селедков, съеденных его товарищами, приговаривая: "У меня дома мама, я хочу ее увидеть"<sup>5</sup>. Офицер якобы был длинный, как жердь, сколько в него ни уходило пищи, все проваливалось, как в яму. Но маму он увидел! Мы же до такой степени голодухи еще не дошли и кости и даже головы рыбы выбрасывали — но самозванный апостол победы духа над плотью и голодом не унимался в своих обличениях.) "Мы должны быть выше хлеба!!!" — был другой запомнившийся лозунг у этого проповедника. И он стал свой полпайки, половину своего хлеба, отдавать соседу — самому юному среди нас и потому самому голодному. Юнец<sup>6</sup> же — как в притчах — поступил подобно умудренному опытом старцу: чтобы не обидеть первого, которого я в дальнейшем буду называть "апостолом", он хлеб у него брал, но не ел, а сушил из хлеба сухари, кои складывал в торбу. Неизвестно, что он с ними собирался сделать, но, зная его неплохо, могу догадываться, что он предполагал, набрав сухарей достаточно много, разделить их потом поровну со всеми обитателями камеры, чтобы в один праздничный день все ээки камеры наелись досыта. Правда, на людях он признавался: каждую ночь ему снится, что он, радостный, несет в камеру торбу хлеба и... просыпается, когда собирается ее развязать. Что поделаться с этим проклятым сном, как избавиться от чертова наваждения? Юнец решил держать торбу под головой: тогда, просыпаясь, он будет сразу ее шупать, и радость из сна найдет продолжение в живой радости бытия. Все соглашались, что этот прием разу-

мен: даже как бы решается вековой спор, конфликт между "идеальным" и "реальным", т. е. "идеальный" мешок из сна преобразуется в наличный мешок под головой. Увы, "апостол духа" после длительных размышлений не одобрил эту идею как языческую, плотскую, утробную, он находил явные рудименты "маммоноисповедания" дикарей в этом поиске радости и наслаждений от торбы черных сухарей, и, чтобы не допустить нашего грехопадения в "маммоноисповедание", — по этой причине или по другой, точно мне не известно, — но через полмесяца где-то он отобрал у юнца торбу и в один присест съел все сухари. Будет время, я научно объясню причины его поступка, а пока упомяну, что, съев за раз торбу сухарей, "апостол" стал мучиться животом. Но на этом дело не окончилось. Начались муки нравственные. Сам он, правда, объяснял свое несколько странное последующее поведение научно-психологической жилкой, страстью к психоэкспериментам: так именно он говорил мне — правда, впоследствии. Увы, я подозреваю, что на самом деле им управляли скрытые силы, иррациональные, не подвластные его контролю! Выглядело это так: получает камера пайки хлеба, все одного веса: 450 граммов, дневная норма. Пайки, однако, почему-то все разные по высоте. И вот наш "научный экспериментатор", он же бывший "апостол духа", подсакивает к столу с пайками (а, надо тебе разъяснить, что сначала всем вместе выдают хлеб, а только потом суп-баланду на первое и селедку или кильку на второе), нервно прыгает вокруг паек и приговаривает: "Где тут паечка побольше?". И безошибочно, между прочим, хватается, что повыше! Потом дают куски селедки в общей миске. Он опять вертит миску так и сяк, бормоча: "Так... так... Выберу-ка я себе побольше рыбоньку!". При этом вполне смыслено, хитро и подозрительно посматривает на окружающих. Никто, конечно, не последовал его примеру. Однажды эксперимент завершился драматически. Среди сокамерников бывшего "апостола" оказалась слишком прямолинейная и примитивная личность, вдобавок с крепкими бицепсами<sup>7</sup>,

которая не понимала ни высоких душевных порывов, ни необходимости в научно-психологических опытах, а попросту, сделав поначалу несколько замечаний о камерной этике поведения, взяла и залепила "экспериментатору" пощечину.

— Я тебя не боюсь! — взвизгнуло его апостольство и укусило примитивную личность за палец. После чего, пытаясь вырвать палец из пасти проповедника голода, прямолинейно-примитивная личность прямо-таки была вынуждена снять с ноги ботинок, благо не зашнурован, и ударить апостола по голове. Сцена в духе старого Голливуда — но тут я опускаю занавес.

К чему я бегло рассказал этот старый случай? Чтобы показать тебе, как простой, в обычных условиях ничем не примечательный акт приема пищи может в ситуации Владимирской крытой тюрьмы порождать загадочные процессы в душах людей...

О пайке можно рассказывать долго. И чем меньше пайка, тем больше рассказов. Обратная зависимость, как в математике: подозреваю, что нормальное питание перестало бы давать пищу разговорам. "С хлебом" устанавливаются разные связи — не только вышеописанная: "Человек выше сытости!". В притче Кафки "Голодарь", например, герой не мог найти пищу по вкусу и свое естественное отвращение к еде выдавал за искусство голодания. Бывает, видимо, и так, но бывает и наоборот. Иногда люди устроены так, что метут в желудок все подряд, и все идет им на пользу, все усваивается — видел такое чудо своими глазами. Мы этих раздувшихся на арестантских пайках эзков прозвали "дирижаблями". Они стыдятся своего раздутого вида, особенно на фоне сокамерников, напоминающих Росинанта с иллюстраций Доре, и некоторые из "дирижаблей", именно из-за этого "скрываемого" стыда, начинают обличать исхудалых товарищей (стихами, лозунгами и т. д.) за "мысли о хлебе, за живот вместо разума" и прочее. Забавно наблюдать, как, робко втягивая свой живот-шар внутрь, они мечут эпиграммы в тощих "поклонников Маммоны"! Ладно, хватит о них...

Как видишь, никто здесь не может избавиться от мыслей о хлебе. Задача же состоит в том, чтобы думать о нем меньше, чем о других вещах (о хлебе духовном, например). Задачу эту в разное время, на разных "режимах", в тюрьме или в лагере практически решает каждый по-своему. Во Владимирской крытке, например, мы, чтобы не думать о хлебе, съедали всю суточную пайку сразу, утром. Умяв пайку, мы ее из предметного мира как бы перемещали в абстрактный, а, как известно, не думать об абстрактных вещах гораздо легче, чем о конкретных предметах...

\* \* \*

Самым жестоким из начальников, кого я встретил за первые шесть лет, был Николаев во Владимирской крытке. Это был садист по призванию. Обладание властью было лишь необходимым условием для выявления и развития его садистского комплекса. А заключенные практически находятся в неограниченном подчинении у администрации. Когда Николаев делал обход камер в тюрьме, все готовились в карцер: никто не знал, зайдет ли он в его камеру, уже насытившись казнями, или же только входит во вкус. Николаев смотрел водянистыми холодными глазами на молчавших, сдерживающих дыхание и замерших у своих коек зэков, и в мире переставало существовать такое понятие, как человечность. Здесь были жертвы и палач, охотник и дичь, зверь и его добыча.

Вот он вошел. Спросил мою фамилию (хотя знал ее). Я ответил. Он, секунду поколебавшись, сделал шаг к койке, поднял матрас и увидел под ним портянки.

— Чья койка? Чьи портянки? — спросил бесцветным голосом, глядя пустыми зрачками на меня.

— Моя, — отозвался стоявший рядом со мной Ю. Чирков<sup>8</sup>. Николаев медленно перевел на него взгляд (Ю. он знал хорошо). "Пятнадцать суток", — бросил он стоящему зади него дежурному офицеру. (Портянки и носки были

почти у каждого под матрасом, т. к. хранить их в камере было просто негде, и Николаев знал это.) Он насытился здесь, в камере, и ушел. А нам оставалось лишь думать, что такое человек.

Режим во Владимире был один из самых тяжелых: днем, например, нельзя было прилечь на койку — сразу сажали в карцер. Карцеры во Владимире холодные и голодные — выматывают человека до смерти. Восстановить силы нельзя было: кормили нас одним жидким картофельным пюре и кислыми гадкими щами. В ларьке можно было взять на два рубля пятьдесят копеек в месяц четыре буханки черного хлеба и четыре пачки квелого маргарина. Часто за нарушение сажали на пониженную норму питания или же переводили на строгий режим не менее чем на шесть месяцев. На строгом режиме человек постепенно "доходил"<sup>9</sup>, его клали на месяц в больницу и, когда он приходил в себя, снова отправляли на строгий досиживать срок наказания.

В такой обстановке в душах людей накапливалась ненависть, уродующая, удушающая, беспросветно-звериная: так их "воспитывали" в этом заведении. Я помню самого себя после того "визита" Николаева. Когда за ним захлопнулась дверь и Ю. стал готовиться в карцер, я взял в руки "Феноменологию духа" Гегеля, чтение которой прервал приход Николаева, и мне открылся жуткий контраст между миром Гегеля и миром тюремного начальства. Меня охватило непередаваемое словами чувство разорванности действительности, выйти из которого к цельному восприятию мира можно было, кажется, только отказавшись верить в возможность и реальность одной из открывшихся половин. Дыхание безраздельной звериной власти, не знающей ни разума, ни духа, ни гуманности, ни морали, — все еще стояло в камере. Трудно было моему сознанию вернуться к тому человеку, исполнителю велений мирового духа, о котором толковал Гегель. Да и есть ли на свете этот человек разумный? Вот же стоял передо мною — человек-зверь. Да я и сам только сейчас превращался в зверя (и, может быть, на время



превратился в него?). Я видел перед собой садиста, знал, как казнит он и как издевается над зэками, и во мне поднялась ненависть, и она была настолько сильной, что я почувствовал: могу броситься на него, загрызть его зубами, удавить, убить голыми руками. В этом человеке я не видел человека. В нем не было ничего святого — и он имел надо мной власть! Казалось, само его дыхание оскверняет воздух, которым дышат люди. Он омерзительно оскорблял меня уже тем, что носил человеческую оболочку, а не свой подлинный лик ползучего смрадного гада. Черт знает, что со мной происходило, когда я его видел. Где же здесь разум? Где же здесь дух? Где вообще разум и дух человеческого бытия? Ибо внешне мы сохранили человеческую оболочку и в поведении и даже в отношениях, но мы не были уже существами разумными и одухотворенными в своих чувствах.

В атмосфере тюремной жизни я слышал сокровенные признания моих сокамерников. Вот Ж.<sup>10</sup> — обыкновенный советский парень, окончил школу, был в армии, попал в лагерь "по бытовой статье", в лагере "раскрутился" по политической (58-й), и уже давненько в политических лагерях. Он начитан, от природы неглуп, прекрасно разбирается в людях, у него богатый жизненный опыт, хотя по преимуществу — лагерный. И вот наступила тяжелая минута, чаша его терпения переполнилась, и он в каком-то бреду высказывается: "Нет, не только власть виновата. Все виноваты. Все трусы. Какое только унижение ни переносит человек! Но представь, что все отбросили бы трусость и говорили, что думают. В миг воздух очистился бы, стало бы легче дышать, меньше стало бы лжи. Не хочу голосовать за тех, кого не знаю! Не хочу сидеть на ваших лживых собраниях! Не хочу ишачить в колхозах! Требую мяса и молока в магазинах! Все сказали бы это в один голос — и все изменилось бы. Подлые, трусливые рабы. Так вам и надо. Нет, вас надо бы еще жестче гнуть. Почему с них не сдирать по три шкуры, если они все ничтожные, бессловесные, трусливые?! Скоты! Ты знал Пашу? Хотя откуда... Он когда освободился, говорил:

”Поеду к старухе в Архангельск, поживу для нее, натерпелась она за свою жизнь, хоть на старости дам ей пожить. Поехал. Но — не тут-то было. Не прописывают у старухи. Сколько он инстанций обходил, сколько писал — бесполезно. На сто первый километр от города<sup>11</sup> — и там живи, или забирай мать и кати в любую деревню, страна большая. Парень он отчаянный. Да и здесь еще нам обещал: если не дадут жить — уйду из жизни с музыкой. И ушел, хлопнув дверью: всех обкомовских — гранатой. Всех, кто не хотел дать ему хоть для старухи пожить. Во время первомайской демонстрации швырнул ее на трибуну, потом еще стрелять стал из пистолета. Там, наверное, долго еще внимательно относились к жалобам. Но что Паша? Таких людей мало. Да и что изменилось? Я бы сделал иначе. Если и мне жить не дадут, я знаю, что сделаю”. Наступила длинная пауза. ”Я хочу проучить этих лживых псов, — наконец начал он медленно, раздумывая над каждым предложением, — этих подлых веселых рабов. Ты не знаешь, как охраняется ”Черная площадь”<sup>12</sup>? Нет? Наверное, на всех чердаках и крышах кишат ”тихушники”<sup>13</sup>, но я думаю, все же в ГУМе<sup>14</sup> можно днем спрятаться, где-нибудь в шкафу. А ночью — устроиться на чердаке так, чтобы через чердачное окно простреливалась бы площадь. Пулемет я найду. Это я знаю, где достать. И вот утром, после военного парада, когда эти радостные рабы двинутся со знаменами и портретами мимо мавзолея, открыть по ним пулеметный огонь — та-та-та-та. А, сволочи, разбегаются! Паникуют! Не понимаете! А чего, думаете, вы заслужили? Представляешь, что это даст! Ведь о том, что демонстрация была расстреляна на Черной площади, узнают все. А кто стрелял — узнать смогут лишь немногие. И то, если меня схватят! Но схватите ли вы меня?” — Ж. хмыкнул. ”Я взорву себя, если меня окружают...” Встряхнул головой: ”А рабы будут в недоумении: ”Мы, мол, к своим властителям со знаменами, с цветами, а они нас свинцом!!! За что же, мол, разве мы не пресмыкаемся? Может, им не нравится, что мы рабски покорны, может, мы им чем дру-

гим не угодили? А когда пройдет страх, начнут роптать: "Раз расстреливают, не будем больше со знаменами ходить". Далее Ж. пускался исследовать различные варианты последствий своего коварного плана расстрела "рабов": он не прочь был видеть в нем начало грандиозных изменений — сперва в сознании "рабов", а затем и в жизни всего общества. Но главное, что я чувствовал в его речи и что, возможно, не удалось передать в пересказе, — какая-то торжественная ненависть к "рабам" и ко всему лживому обществу. И еще в его ненависти я узнал, увы, несчетное множество соотечественников, которые расправляются с собратьями в очередях, в коммунальных квартирах, в трамваях, на собраниях... Да, видно, правильно подметил Федор Михайлович Достоевский: "В каждом человеке сидит зверь". И наступает иногда такое состояние души, что зверь этот берет верх. Что же это за состояние души? Какие впечатления, какая окружающая жизнь пробуждает зверя? Ответ прост: человек становится зверем, когда вокруг него звери или ему кажется, что он находится в обществе зверей и миром правит закон джунглей.

Главный же питомник этих двуногих зверей в нашей стране — лагеря и тюрьмы.

\* \* \*

Я мог прожить жизнь, не побывав в заключении и не размышляя над его порядками. Но волею судьбы я оказался там и не думать о нем не могу.

Поскольку существуют преступники, постольку должно существовать насилие ради общественного порядка: это всем ясно. Поэтому неволя воспринимается обычными людьми как естественный ужас человеческого бытия. Но что, если неволя включает в свое лоно значительную часть общества? Если сквозь ее фильтры проходят *миллионы*? Что, если лагерь стали неотъемлемой составной частью жизни общества, а не его незначительными задворками и помойками?

Первое следствие: для обработки и использования такого количества преступников общество вынуждено необычайно широко расширять карательно-полицейский аппарат — органы. Но, став таким многочисленным, репрессивный аппарат занимает несоразмерно большое место в общей системе государственной власти и оказывает значительное влияние и на ту сторону общественной жизни, которая вроде бы от него и не зависит.

Другое важное следствие: необходимость ресоциализации, т. е. подготовки к возврату из-за решетки в нормальную жизнь после отбытия сроков миллионных масс. Это не просто забота о преступнике, так сказать, гуманное к нему отношение, но, прежде всего, самозащита общества. Если будут выпускать на свободу людей, не подготовленных к обычной социальной жизни, то тем самым в общественный организм будут выбрасывать постоянные дозы яда. Неволя — особенно длительная — калечит души людей, заражает их отчаянием, пессимизмом, чувством реванша любой ценой и ненавистью к окружающим.

Жизнь людей, оказавшихся в поле моего зрения, дала мне однозначный ответ: МВД СССР не справляется с этой возложенной на него обществом задачей. Оно возвращает ему из лагерей и тюрем не только нравственно, но и физически неполноценных людей. Вместо того, чтобы подготовить человека к жизни на свободе, там воспитывают человека, способного жить лишь в неволе. Очень многие свыкаются с жизнью в неволе, попав в нее с подросткового возраста, с "малолетки". Они проводят на воле по полгода, редко по году-полтора, и снова совершают преступление и возвращаются в лагерь, где и проходит практически вся их жизнь: волю так и называют "большой зоной", в отличие от "малой зоны" — лагерной. Между "зонами" они не видят большой разницы. В "большой зоне" нужно гнуть спину за рубли, да еще и купить на них нечего. В лагере работаешь, зато в лагере можешь не выйти на работу, когда нет настроения, правда, за это пойдешь в карцер, но и в карцере пайку

хлеба через день дают, да и в карты можно работу выиграть, тогда ходишь да поплеываешь, а за тебя работают. Как бы то ни было, а лагеря уголовники не боятся и охотно идут на повторные преступления. Возможно, потому, что их не особенно очаровывает жизнь на воле и они ее не ценят. Большинство легко вступают на путь гомосексуализма и тем удовлетворяют половой инстинкт, одну из самых сильных потребностей человека, один из самых сильных стимулов к свободе. Уголовники вообще живут на износ: махнули рукой на будущее, считают, что им уже не подняться, и не заботятся о своем здоровье. Часто становятся наркоманами, а поскольку наркотики достать трудно, да и дорого, глотают лекарственные таблетки, колют в вену всякую дрянь. Тут точка их контакта с медперсоналом лагерей: за таблетки уголовники не требуют от медиков работы — ни обследования, ни лечения, а таблетки у лагерных медиков в изобилии: это таблетки "списанные", с истекшим сроком годности. Только для наркотического эффекта они и годятся...

Что делать в этой ситуации администрации МВД? Начало и венец ее усилий — выполнение производственного плана. Начальство знает, что если будет давать план — значит, оно числится исполнившим свои обязанности. И выполнение плана поглощает всю, надо признать, скудную энергию и изобретательность администраторов. Я сам знал двух отрядных начальников, которые, заключив между собой соцсоревнование, развернули борьбу не на производстве, а в карточной игре. Каждый подговаривал своих картежных асов обыграть эжков соревнующегося отряда на месячную норму и заставить таким образом работать другой отряд за себя. Есть, однако, и менее гуманные способы достижения этой цели: например, избивание "отказников" или людей, не выполняющих норм, руками "сук" и "козлов", т. е. членов СВП (уже упоминавшейся секции внутреннего порядка).

Как же осуществляется ресоциализация — подготовка преступника к выходу на волю?

Подменой названий. Труд называют не средством наказания, а воспитательным мероприятием. Между каторжниками устраивается социалистическое соревнование, присуждаются переходящие вымпелы, знамена, существуют "Доски почета" и проч. Увы, зэки очень скоро понимают все лицемерие и фальшь внешних атрибутов, которые должны преобразить каторгу в дело чести, доблести и геройства. Во-первых, сам труд оплачивается лишь наполовину: вторую вычитают в форме особого налога в пользу МВД — "за проволоку". Во-вторых, человеку на производстве отказывают в возможности восстановить утраченные силы: положенной "нормы питания" на восстановление сил явно не хватает. Да и этого положенного зэк не получает: в котел закладывается далеко не все, ибо если на воле все, кто могут, тащат, то в тюрьме сам Бог велел...

Качество пищи вдобавок отвратительное, т. к. она готовится из тех продуктов, которые уже портятся на складах и в овощехранилищах. Покупка продуктов в ларьке сверх "нормы" разрешена лишь на мизерную сумму — пять рублей в месяц, да и ассортимент разрешенных продуктов скуден. Зэк, который не может реализовать свою зарплату в своих интересах (прежде всего, на свое питание), начинает считать, что все возвышенные слова об общественно-полезном труде — ложь и лицемерие. Администрация пытается снять это, видимое ею противоречие в сознании заключенных усиленной идеологизацией: политинформациями, индивидуальными беседами, "шкалой перевоспитуемости" и проч. На мой взгляд, итог таков: те, кто раньше, на воле, в силу, скажем, недостаточного образования или кругозора, предполагал, что идеология скрывает непостижимую их темному уму мудрость и истину, в зоне открывали ее земной облик — начинали называть "фуфлом", "туфтой", "чернухой", "тюлькой" — все эти жаргонные словечки означают, в сущности, абсолютно одно и то же: обман для простаков и "опиум для народа" (если использовать популярное выражение К.Маркса).

Проблема лагерей — исключительно трудная проблема, я это понимаю. Легко ее не решить. Возьмем, например, питание. Кажется, чего проще: не ограничивать покупку продуктов на заработанные деньги. Простое административное решение! Но этого сделать не хотят и, возможно, не могут, потому что не будет стимула к работе. Сейчас за перевыполнение плана к пяти рублям прибавляют три рубля премиальных на покупку продуктов в ларьке, и ээк часто ради этих трех дополнительных рублей перевыполняет норму. Или другое: если в зоне будет вдоволь еды, то многие не будут бояться карцеров, потому что товарищи начнут карцерников "греть" (тайно передавать им продукты), да и, выйдя из карцера, человек сможет отъесться. А многих заставляет работать именно страх карцера! Возможно, что хороших продуктов попросту не хватает на воле, государство не может снабдить даже население городов, потому ограничен их ассортимент и в зонах. Кроме того, нехватка продуктов в зонах дает возможность торговым организациям сбывать в лагеря лежалые, не пользующиеся спросом у населения продукты — это тоже веское соображение в мыслях хозяев зон.

Существует и такое объяснение—"оправдание", почему ээка нужно держать впроголодь: иначе их не выгонишь на волю. Сам слышал не раз. Как ни прискорбно, как ни хочется назвать это лицемерием, есть в нем доля правды. С 1956 по 1961 г. в лагерях с продуктами было сносно, и, по воспоминаниям тогдашних ээков, были случаи, когда отбывшие сроки не хотели покидать зоны: "Разве в моем колхозе будет так сытно!"

Может быть, кое-что объясняется самим человеком, попадающим в лагеря. Если быть немного жестоким и не закрывать глаза на реальность, если видеть уголовника таким, каким он сегодня является, то можно сказать, что лагерная жизнь, при всем лицемерии ее воспитательной оболочки и плохом питании, — хоть изощренное, но заслуженное наказание. И если смотреть с точки зрения выживания, то в се-

годняшнем лагере выжить можно, при условии, если превратиться в покорное рабочее животное.

Проблема упирается, однако, в то, что через лагера проходят сегодня — миллионы. А с точки зрения нравственной — лагерь дурно влияет на человеческую личность. Здесь человек скорее способен впасть в заблуждение и принять ложь и лицемерие лагерных отношений за ложь и лицемерие социальных отношений вообще. Если раньше он считал себя преступником, то, знакомясь с социальной картиной и масштабами преступности в лагере, он уже говорит, что все в мире — преступники и лицемеры!

Я говорил выше, что лагерные проблемы требуют обширных социологических знаний и рассуждений, и поэтому не буду пытаться их здесь решать. Замечу только в конце, что, гуманная по своей цели, идея социализации лагерной жизни как условия ресоциализации, возвращения преступника в общество, на деле трудно осуществима. Она требует исключительной культуры социальной жизни всего общества, его благосостояния, наличия материальных ресурсов. Только тогда отпадет требование рентабельности лагерного производства и извлечения прибыли от принудительного труда. Пока же эти цели ставятся перед администрацией лагерей, до тех пор социализация лагерной жизни будет тем, чем она является сейчас: извращением, пародией на мир свободы в виде причудливого мира "исправительно-трудовых" лагерей.



**ЧАСТЬ II**

**ВТОРОЙ СРОК**

**ЧТО ТАКОЕ ТЮРЬМА. РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАМЕРЕ**



## Глава первая

Здравствуйте, дорогие мои!

Вот и прожили мы три дня вместе. Срок истек, и я вернулся в камеру. Вы вышли за вахту, наверное, зашли в гостиницу, подождали поезда на Потьму — и к девяти часам уже были в Потьме? Удалось ли вам, милая, в тот же вечер уехать из Потьмы. Неужели пришлось мучиться (особенно Анечке) всю ночь на вокзале из-за того, что не было билетов на Москву? Я помню, вы говорили, что с билетами трудно, большие очереди в кассах, да вот и мой сокамерник рассказывает, что его родственники трое суток сидели — ждали поезда.

Ты помнишь, Любонька, я советовал тебе: пойди в комнату милиции и заяви дежурному офицеру, что ты хочешь уехать, но не можешь достать билеты на поезд. Если начальник милиции узнает, чья ты жена, у него появится желание, чтобы ты быстрее уехала из его владений. Он тебе поверит, что в его собственных интересах посадить вас на поезд, идущий до Москвы, как можно скорее.

Если же он вдруг не клюнет на твою просьбу, объяви ему с хорошей долей жути, что ты жена особо опасного государственного преступника-рецидивиста — и добавь на всякий случай, что хотя ты всего лишь жена, но даже народная мудрость говорит: "Муж и жена — одна сатана" — и поэтому государство будет по-настоящему в безопасности, если ты окажешься у себя дома на кухне. Как только ты дойдешь до слов о безопасности государства, он тут же должен отреагировать в нужном направлении. Потому что, как бы он ни был туп, но обязан четко усвоить основной артикул: опас-

ные для государства люди должны содержаться взаперти, лучше всего в лагере, — а если нельзя в лагере, то, по крайней мере, на кухне!

Пришлось ли тебе прибегнуть к этой "хитроумной тактике", разработанной мною под впечатлением рассказов свидетелей о сошедших с рельсов поездах и, вследствие этого, о вокзалах, забитых пассажирами, не доставшими билет на поезд?

Сегодня третий день, как я, расцеловав вас, с тоской переступил порог нашей "подводной лодки". Меня встретило лошадиное ржание сокамерника: "А, вот и вы! Га-га-га-га! А мы как раз решили, что пора скушать ваш обед, а вы тут как тут!"

Я давно уже не жду "аттической соли" в шутках Н., поэтому по-китайски улыбнулся и ничего не ответил. Хотя предмет шутки — человек со свидания в тюрьме приходит голодным — вполне реален. Зэк на свидании бывает настолько подавлен, что у него пропадает аппетит. Часто новая, непривычная, обильная, вкусная пища быстро выводит из строя желудок, расстраивает весь организм, и на второй-третий день свидания зэк не может ничего есть. Ты сама, Любонька, помнишь, как в прошлое свидание я к концу его не мог ничего есть, а, съев что-то, тут же вырвал. Зато на этот раз я был осмотрителен и все трое суток поддерживал нормальный тонус и аппетит, ел нормально и пришел со свидания сытым на два дня вперед...

Поэтому я не ужинал, а лишь выкурил две сигареты до отбоя. Тут, в камере, мне предстояло сделать выбор: лечь на койку, закрыть глаза и остаться наедине с вами в мыслях — или же поговорить с двумя сокамерниками о свидании, о вас, оставаясь с вами, но уже не наедине, а вместе с другими.

Второй из этих вариантов я выбрал почти импульсивно, не задумываясь, и лишь затем осознал причину выбора. Оставаться с вами наедине в моем воображении было тяжело и мучительно. Я еще сохранял тепло ваших губ, в ушах зве-

нели ваши голоса — но уже нельзя видеть и слушать вас, нельзя прикоснуться и обнять. В первые мгновения после расставания, когда вас еще обыскивали в комнате свиданий, а я уже был в своей затхлой "лодке", в моем сознании, как никогда отчетливо, противостояли два мира: ваш мир — и мир "особого режима". Сейчас я охватываю их единым взором, и эти миры разделены лишь минутами, в течение которых я пересек дворик от комнаты свидания до камеры.

Почувствовав в первые минуты после свидания, как подкатывает мощная знакомая волна чувств, я решил избежать, рассеять душевное томление. А снять напряжение легче всего, разделив его с другими.

Сокамерники восхищались дочкой: "Смотри, большая уже!". И я стал охотно рассказывать, как Аня уличила меня в неточности, когда я сказал, что сижу в тюрьме. Она сразу поправила: "Нет, папа, ты сидишь в лагере". Как путано я объяснял ей, что тюрьма и лагерь — одно и то же, "хотя, конечно, это разные пенитенциарные учреждения, каждое со своим особенным режимом содержания заключенных..."

— Ты смотри, какое интеллигентное дитя, — уже понимает разницу между тюрьмой и лагерем!

— О, она все понимает. Я от нее не скрываю ничего. Вот она спрашивает: "Папа, а кто такие "начальники"? Я ей отвечаю: "Это, доча, как в зоопарке: от крокодила — крокодиленок, от волка — волчонок, от обезьянки — обезьянка, а от первого начальника — начальники. Но их бояться не надо".

— А она что?

— Долго смотрела на меня круглыми глазенками, а потом сказала: "Папа, когда же ты приедешь ко мне? Я хочу с тобой погулять, походить, мы пошли бы в зоопарк". — "Я тоже хочу, очень хочу, погулять с тобой по Киеву, по набережной Днепра, сходить в зоопарк, но пока вот — я под замком у начальника". — "Папа, а давай этого начальника под замок закроем, в клетку, и отдадим в зоопарк. А сами будем ходить и смотреть на него, и другие пусть смотрят. Чтоб знал, как тебя закрывать!"

— Так и говорила?

— Это еще что! А когда ей было четыре годика, она однажды сказала: "Мама, купи мне ружье. Поедем к папе, я постреляю всех и его освобожу".

Похоже было, что я наконец обрел защитника и похвалялся им перед сокамерниками. Радостная и горькая одновременно мысль кольнула сознание: глубиной и силой желания видеть меня на свободе дочь перевесит всех сочувствующих и страдающих мне в мире...

Рассказывал им я про то, как мы с Аней вызывали дежурного на вахте, оборвав сигнализацию, а затем принялись колотить в дверь. Рассказывал, как Аня била тоненькой ножкой, обутой в огромный мамин тапок, в дверь и кричала: "Давай дрова!". И как на слова выбежавшей из кухни бабушки: "Анечка, прекрати, ты уедешь, а папу накажут" — дерзко запищала: "Что же, мы замерзать должны!" — и еще раз шлепнула огромным тапком по двери.

— Ну, и принесли?

— Еще бы! Прибежали надзиратели, и сразу появились дрова, а Анечка взяла свои теплые вещи из чемодана.

И я продолжал рассказывать, как мы играли с ней в домино и в шахматы, как плясали, как читали английские стихи, и т. д. и т. п.

Чувства мои постепенно вернулись в берега, я смог лечь на койку и просмотреть почту за эти два дня и журналы. В "Дружбе народов" взял на заметку роман Булата Окуджавы "Путешествие дилетантов", прочел наугад две странички. Речь идет о каком-то князе первой половины прошлого столетия. Что можно знать о тех людях, если мы плохо знаем своих современников, живых людей, с которыми садимся каждый день за один стол? Впрочем, в исторических художественных произведениях художник описывает декорации в музее, а на подмостки выводит все тех же людей, которых он видит каждый день, с которыми живет, от которых зависит его судьба.

Хороший художник не заботится, очевидно, об истори-

ческих лицах: он сводит счеты с настоящим, он всего лишь продукт настоящего и не может быть ничем иным, не может говорить о том, чего не знает, — духе прошлого...

Я закурил еще одну сигарету и подумал, что, наверное, не усну в эту ночь. Потом попросил у К.<sup>1</sup> таблетку демидрола, проглотил и лег спать. Забыться, не думать, прочь из этого гнусного мира, в котором и радость пьется лишь пополам с горечью, и счастье отмеряется казенной меркой — три дня в году...

Проспал, как убитый, до подъема — помог демидрол. Завтракал еще полусонный и лишь на работе окончательно проснулся. Я ходил по дворику и смотрел сквозь щели на окна дома свиданий, откуда только вчера Анечка с недоумением и любопытством наблюдала, как между щелями забора во дворике, затянутом сверху колючей проволокой, мелькали полосатые тени. Помнишь, она смущенно спросила: "Папа, а ты человек или зверь?". Я ответил: полубог. А ведь вопрос-то, видимо, навеяла картинка, которую увидела из окна: так мечутся звери в клетках!

И тут мои мысли потекли в неопределенном направлении. Как, интересно, нас, эжов, видят люди со стороны? Как самому рассказать о себе родным, друзьям, детям? Как рассказать искренне о живой, человеческой жизни, как всегда сотканной из противоречий, из силы и слабости, смелости и трусости... Почему-то раньше мне такой рассказ представлялся более простым. "Я — хороший", — такую простодушную рекламу-саморекламу мы встречаем с улыбкой и даже сочувствием, если об этом говорит персонаж "Двенадцати стульев" Паниковский, преследуемый разъяренными обывателями, когда он умоляет спасти, взять его с собой. Но вот в жизни...

Простите, сегодня надо сдавать письмо, иначе норма на письма за август месяц пропадет, поэтому тороплюсь, и письмо получилось бессвязным. Любонька, мне приходят письма из Израиля, от Рут Офер. Ты отправь, пожалуйста, ей ответ — или открыточку, или напиши письмецо<sup>2</sup>. И еще,

если Вику<sup>3</sup> будешь писать, попроси прислать Ане детские книжки на английском языке...

\* \* \*

Тебе, дорогая, интересно послушать, как я встречал и встречаю дни рождения в неволе? Они ведь даже здесь не похожи друг на друга, хотя бы потому, что не могут быть одинаковыми два разных дня. Но все же остается нечто постоянное, что составляет — во внешнем мире нашу среду обитания, а во внутреннем — основу нашей личности. Взаимодействие среды и личности создает настроение, ну, а что такое тюремное настроение... Чтобы передать тебе некое его подобие, я должен изобразить хоть частичку реального, живого мира, который окружает меня и проникает в кровь мою и мозг, и часто не в переносном только, но и в буквальном смысле этого слова. Частичку мира, которым я — дышу. Сначала расскажу про старый день рождения — еще во Владимирской тюрьме, потом — про день рождения уже в этот срок, а потом... потом тебе надоест слушать, и я закончу письмо.

Итак, начнем.

Накануне дня рождения, залезая по команде "отбой" в матрасовку (в тюрьме нам простыней не давали, поэтому матрасовку — чехол, натягиваемый сверху на матрас, — мерзляки использовали как спальный мешок, а тюремные шутники использовали этих мерзляков в мешке вместо развлечения: ухитрившись завязать спящего в матрасовке, они показывали потом пальцами на барахтающийся мешок, откуда на всю камеру гремел мат, и с неописуемо-удивленными минами спрашивали друг друга: "Ты эрудит, нет? Какой зверь умеет матом рычать?") — так вот, залезая после отбоя в матрасовку, я, тогда еще молодой парень, думал: "Наполеон в двадцать три года был великим человеком, первым консулом! Ну, у меня в запасе есть еще одна ночь до двадцати трех лет — не будем отчаиваться... Вдруг именно этой



ночью в меня войдет гений, и завтра миру явится в этой камере еще один Наполеон. А что! Истории такие случаи известны, — утешал я себя. — Например, Альберт Больштедт, прозванный Альбертом Великим, до тридцати лет считался дураком, а однажды встал великим теологом-ученым, святым! А Жанна д'Арк?"

Горько-тщеславные размышления прервал голос сокамерника Т.<sup>4</sup>: "Желаю день-рожденческих снов!" — "Сенька, сэнк-ю", — заземлил я шуткой тронувшее меня пожелание. "Кирлы-мирлы, кока-малы", — злобно проворчал не переносивший английского языка Петька-полицай, уже залезший в матрасовку. Целый день он ждал отбоя, ибо днем ни спать, ни даже лежать на койке нам не разрешалось, и сейчас злился на каждое слово — спешил заснуть. "Ага-а, — протянул Т., — вот и мясо отозвалось. Зарежем Петьку на котлеты к праздничному столу на день рождения".

— Хэ! Г-хэ! Тухлые будут у вас котлеты, — заворчал в матрасовке Женька-уголовник. — Я лично лучше пожую подметку от сапога!

— Может, Бог даст, завтра ларек принесут. Сегодня на втором этаже бытовикам давали. Вот и встретишь, Алексей, свой радостный день с белым хлебом, все благостнее будет, — закончив молитву и раздеваясь, откликнулся "бегун" (член общины истинно-православных христиан).

— Бог-то, деда, наверное, давно отдал распоряжение выдать нам ларек. Если судить, какое расстояние от небесной канцелярии до начальника тюрьмы, так минимум уже три недели назад... Но запомните на будущее, благолепный Пантелеймон Светохиевич, милость Божья — в руке начальника! Именно в руке, Пантелеймон Светохиевич, а не во власти Божьей, потому что у начальника всего две руки, и во второй руке он с давних пор и навсегда держит наказание. И, раздав милости левой рукой, он тут же раздает горести правой, дабы возвратиться вечером домой с радостным чувством бескомпромиссно исполненного служебного долга. Поэтому и сказано мудрым народом: "До Бога далеко, а до на-

чальника близко”, а некий декадент по имени Кафка сделал из народной мудрости логический вывод: ”Чти начальника своего”...

Тут ”Ревизионист”<sup>5</sup> вылез из своей матрасовки (это именно он разразился ироническим потоком словес в адрес Пантелеймона Евстафьевича), надел очки и уставился во мрак, синеющий за стальными прутьями решетки.

— Очки-то зачем одел? Али говорить без них — языку не видно? — добродушно откликнулся дед и шустро юркнул в матрасовку.

Костя, прозванный ”Ревизионистом”, был моложе всех в камере. С утра и до вечера он сидел над ”Критикой чистого разума” Иммануила Канта в одной руке и ”Диалектикой природы” Фридриха Энгельса в другой. Помню, как-то он оторвался от ”Диалектики природы” и, щелкнув костяшками пальцев по книге, задумчиво проговорил в пространство:

— Третий раз читаю, а найти не могу!

— Что найти-то? — отозвался я, но ответа не было... Недавно он решил читать ”Диалектику природы” с помощью комментария в виде книги Канта, надеясь, что на этот-то раз найдет в ней то, что там обязательно должно находиться, но он никак это ”нечто” обнаружить не мог. Впрочем, в загадку ненайденного ”нечто” Костя-”Ревизионист” так и не посвятил меня. Человек он был серьезный: тюремное время не позволял тратить попусту на какие-нибудь разговоры и лишь утром, до оправки, и вечером, после отбоя, он, истосковавшись, видимо, по беседам, изливался внезапным потоком слов, чтобы внезапно оборвать его, замолчать и снова уйти в себя.

— Я, деда, очки надеваю, чтобы думать было сподручнее. А вы? Я заметил, вы их, идя в уборную, надеваете. Может, вам гм-гм... так сподручнее, Пантелеймон Евстафьевич...

— Хи-хи-хи, срамник, — закашлялся в смехе старик. — До чего книжки человека доводят!

Тут не выдержал, завизжал в своей матрасовке Петя-полицай:

– Во-во! Хи-хи! Вместо этой книги дать бы ему скушать фигу!

– Петька, заткнись, на котлеты пустим! – пригрозил развеселившемуся Пете наш Т.

Тут открылась кормушка, и дежурный надзиратель – им в ту ночь был ”Рыжий”<sup>6</sup> – предупредил: ”Дежурный офицер ходит. Услышит разговоры – накажет. Ложитесь и спите!” Кормушка захлопнулась.

– Наше счастье, что кормушку открыл ”Рыжий”, а не ”Монс”, это он сегодня дежурный офицер, – вдумчиво заметил ”Ревизионист”, укладывая очки на полку над головой.

– Дуракам счастье! – снова захихикал полицаи.

– Ну ты, шавка! – крутанулся в матрасовке Женька-уголовник.

– Благослови, Господи, наш сон грядущий, – примирительно-успокоительно завершил Пантелеймон Евстафьевич, и все замолчали, заворочались на постелях, устраиваясь поудобнее...

Я остался наедине с собой. Легкая вспышка разговоров сняла сонливость, и я знал, что теперь засну не скоро. ”Господи, – мысленно проговорил я, – благодарю Тебя за то, что нет человека, храпящего в моей камере, что я могу не только не тяготиться бессонницей, но и желать ее сегодня, что ожидаю, как из темных глубин души всплывет нечто и я смогу водрузить вежу на этом рубеже времени – в день и в честь своего двадцатитрехлетия”.

Я попытался устроиться поудобнее на спине, чтобы выпирающие железные полосы остова кровати не так сильно врезались через тощий матрас в тело. Хитрость заключалась в том, чтобы загнать поперечную полосу не на крестец, а во впадину, в изгиб позвоночника возле таза. Поерзав, наконец устроился, избавился от ощущения давивших на спину металлических полос, и при этом и голова, и ноги, словом, весь я оказался в пределах матраса. С облегчением вздохнув, сказал себе: ”Ну вот, теперь думай, созерцай свое двадцатитрехлетнее существование”. Помню, лежал с закрытыми

глазами и ждал... чего? Мыслей? Откровений? Видений? От напряженного самосозерцания, в котором я, увы, ничего не различал, глаза стали открываться сами по себе, и чем сильнее я хотел сохранить их закрытыми, тем неумолимее они хотели открываться. И открывались. Но открывать глаза нельзя было, так как я лежал лицом к лампочке, воткнутой в стену над дверью, — как раз напротив меня.

Почти все, кому достается лежать лицом к лампочке, на ночь завязывают глаза полотенцем. Я же поступал так недолго и сумел приучить себя спать без полотенца. Но в этот раз почувствовал, как глазные яблоки буквально вылезают из глазниц, чтобы приподнять веки и открыть зрачки. Наконец, сдавшись, я открыл веки и отвел глаза от лампочки в сторону, но вслед за глазами потянулась и шея, поворачивая голову набок и возвращая уставшие глазные яблоки в нормально-здоровое положение. Свет мешал мне. Что делать! — вместо того, чтобы провести в душе "торжественно-праздничное заседание по случаю двадцатитрехлетней годовщины со дня рождения А.Г.Мурженко", я расслабился и никак не мог "взойти на трибуну" — сосредоточиться, отрешиться от телесности.

Успокоиться-то я не мог именно потому, что хотел отрешиться от плоти и воспарить духом. Я ведь, напоминая, хотел не просто полежать, а подумать о прожитых годах: вспомнить детство, дом, училище, институт, арест, прожитое к тому времени в Мордовии, наметить кое-что на ближайшие месяцы и попытаться проникнуть воображением в пределы будущего — хотя бы до границ "освобождения". Я ждал — чего уж теперь скрывать — поистине чудесного состояния одухотворения и появляющихся в таком состоянии духа откровений — о смысле ли жизни, о личной судьбе и судьбах мира, о предстоящем каком-то испытании или подвиге, или воспарении, или... В общем, ждал прозрения — великого, решительного для моей жизни события. Словом, как говорили в старину, ждал "явления ангела".

Смешно?

Самое любопытное, что мне и самому было смешно, когда я смотрел на подобных мне "недобрых людей". Но я не узнавал в них самого себя со стороны — вот что было уже не смешно, а печально. Как было не улыбнуться, когда утром в Мордовии, по дороге из лагерного барака в туалет, натыкаешься под каждым встречным деревом на фигуры эжков, застывших в самых нелепых позах: кто стоял на голове, кто на одной ноге, зажав одну из ноздрей пальцем руки, кто лежал "в позе рыбы", а кто — "в позе кобры"... А послушать их! Мифы из книги Паранхансы Йогананды "Автобиография" о "дематериализации", "перевоплощениях", "полетах по воздуху", о жизни йогов по... две тысячи лет (!) и прочее, и прочее — все это излагалось не просто как вполне возможное или даже достоверное, но — со ссылкой, с прозрачным намеком на свой собственный опыт в области чудесного!

Но видя отчетливо это ослепление других — в защиту их скажу тут же, что оно происходило от жажды любой ценой отрешиться от опостылевшего официального "материализма", — я одновременно не замечал совершенно аналогичного собственного ослепления, происходившего по той же причине. Я никогда тебе раньше не рассказывал, почему, собственно, угодил во Владимирскую крытку?

Было так. Я решил, что дух — всемогущ, а если так, то стоит его в нужный момент кликнуть на выручку, и он делает все, что нужно (как конек-горбунок). Следующий логический шаг: надо подавлять плотские потребности и, чтобы они не бунтовали, подорвать их основу, здоровье, в общем — самую плоть подорвать! Эти намерения выросли у меня в сознании из мистической, романтической и прочей книжной белиберды (в то далекое, нереально "либеральное" время можно было получать книжные бандероли из дома, и в лагере находилась интересная и разнообразная литература). Страшным для меня образом этот бред из дешевых сочинений нашел поддержку в сочинениях глубоко мною чтимого Томаса Манна: именно в его двусмысленных

рассуждениях о болезни и духе, о здоровье и личности я отыскал обольстивший меня смысл: дух и здоровье — несовместимы! "Ура! — сказал я себе. — Теперь холод и голод, изолятор, БУРЫ и карцеры — все будет работать на меня. Пусть моя плоть получит все это в избытке, лишь бы в итоге выросла моя духовность". Ну и как следствие из этого внутреннего "ура" я и попал во Владимир. Смешно? Конечно. Но лишь — со стороны. Я же относился к своим "поискам" весьма серьезно, хотя думал о себе, что весьма ироничен...

Конечно, это лишь одна из граней моей тогдашней личности и тогдашней жизни, но почему бы не взглянуть теперь на себя и со смешной стороны?

...Итак, я лежал, отвернув голову от лампочки. Уже моя шея ныла от напряжения, нужно было поворачиваться на бок всем туловищем — вслед за головой и шеей — или снова закрыть глаза и повернуться к лампочке. Я выбрал второй вариант: повернул голову, закрыл глаза и расслабил затекшую от напряжения шею...

— Но так ни о чем нельзя думать, — дергался я от раздражения, — кроме шеи, глаз и света.

И презрев холод в камере и возможные "последствия" своего решения, я вылез из уже нагретой матрасовки, нашел в своих тетрадах промокашку и, поплевав на нее, наклеил, вернее, прилепил к лампочке. Камера погрузилась в приятную голубизну.

— Лучше ларек на полке, чем промокашка на лампочке, — вдруг раздалось философское предостережение не спавшего, как оказалось, "Ревизиониста".

— Авось обойдется! — отозвался я "по-русски" и юркнул в матрасовку, спасаясь от наступавших волн озноба. Согревшись, расслабившись, я лежал уже с открытыми глазами и ждал: вот сейчас узнаю о себе, о жизни, о мире нечто такое...

Звякнул глазок, послышались голоса — и снова приближаются чьи-то шаги.

Я опять закрыл глаза. Открылась кормушка и пришлось приоткрыть веки. В отверстии двери сопело круглое лицо "Монса"...

— Вы, вот вы, встаньте и снимите наклейку, — послышался в камере его голос.

Я тихонько приподнял веки и взглянул из-под опущенных ресниц — и тут же мои глаза встретились с его маленькими, круглыми, без ресниц, моргавшими гляделками. Быстро зажмурил их обратно, думая, что разгадал его хитрость: он наугад пытался обнаружить виноватого, рассчитывая на импульсивное повиновение того, кто наклеил промокашку.

"Монс", однако, заметил взмах моих ресниц, потому что подозвал "Рыжего" и спросил:

— Как его фамилия?

— Какого? Того, что приклеил?

— Нет, вон того, — наверное, это на меня указывал палец "Монса", так как "Рыжий" сказал: "Подвиньтесь немного, товарищ капитан, я прослежу за вашим пальцем".

Послышалась возня.

— Ой, вы наступили мне на ногу, товарищ постовой, — неожиданно ойкнул "Монс".

— Извините, товарищ капитан. Ваш палец на ближнего направлен или на дальнего, который слева?

— Вы что, не знаете, кто прилепил промокашку? — тут "Монс" взвизгнул вторично: должно быть, "Рыжий" наступил ему на мозоль.

— Снимите сейчас же промокашку! — и я услышал, как офицер потопал по коридору. "Рыжий" наклонился, всунул свой длинный нос в кормушку, тихо сказал: "Мурженко, снимите наклейку" — и закрыл отверстие.

Все зашевелились.

— Вот оно, чудо, — первым высказался "Ревизионист", — ему наступили на мозоль, а он никого не наказал. Если так пойдет дальше, то я, Пантелеймон Евстафьевич, запишусь в вашу профсоюзную организацию.

— Патефон и то бывает ломается, а что человек, — удовлетворенно отозвался Пантелеймон Евстафьевич, — вчера было одно настроение, а сегодня, глядь, ему ангел в душу сошел.

— Какой ангел в душу, — крутанулся от возмущения Женька-уголовник. — В его душе ...мать, ангел задохнется. Или черти ангела сожрут. Там же Содом и Гоморра! — Женька не раз страдал от придирок "Монса".

— Может, у него тоже сегодня день рождения? — обратился ко мне Т. — Если так, я бы не обменял свой день рождения с каким-нибудь псом.

— Люблю собак! — отшутился я.

— Не покушал овсом — у кормушки стоял псом, хи-хи-хи, — идиотски завизжал Петя. И сразу повисла тишина.

— Днем не спишь — стоит начальник, ночью не спишь — опять начальник тарахтит, как чайник. Хи-хи-хи, — не мог остановиться Петя.

— У него истерика, — спокойно заметил Т. — В таких случаях в чувство приводит оплеуха. Так я вылезу?

Т. зашевелился, и снова наступила тишина. Петя еще раз что-то хрюкнул в матрасовку и успокоился.

\* \* \*

Немного о Пете. Он был необычным полицаем, каким-то нетипичным. Но заинтересовал он меня именно потому, что за нетипичным поведением, за странными, необычными манерами постепенно открывалась типично "полицайская" суть характера. Петя был крайним индивидуалистом, а если говорить попросту, то он подчинял все на свете своему буквально животному эгоизму. Ни с кем ничем не делился, ни с кем ни сходил, даже вроде бы не разговаривал. Говорил только в пространство: слушал — и бросал бессвязные реплики, часто рифмованные, всем вместе, ни к кому конкретно не обращаясь. Мысли его были только о каше, о ларь-



ке. Время он проводил, топчась у своей койки и начищая миску и кружку до зеркального блеска. Почти весь день готовился к очередному приему пищи, расстилал часа за два до еды полотенце на койке, ставил блестящую миску, кружку, клал ложку и садился созерцать "стол". Еду никогда не проглатывал и миску вылизывал. Нетипичным в нем было то, что это был единственный известный мне "полицай", которого за отказ от работы уже три или четыре раза отправляли в крытку "на перевоспитание". Возвратившись из тюрьмы в лагерь — по рассказам тех, кто сидел там вместе с ним, — он целыми днями, как голодная псина, околачивался возле столовой, как в жилой, так и в рабочей зонах. Месяцев через пять-шесть, насытившись наконец кашей, он бросал всякую работу, и через изоляторы и БУРы его снова отправляли на "перевоспитание" в тюрьму.

Все в Пете было подчинено инстинкту самосохранения, задаче выживания, сбережению здоровья. Он приговаривал постоянно, хихикая: "Кто работал и трудился — тот давно землей накрылся. Кто работу... — тут он деликатно хихикал и делал паузу, — тот до сих пор живет". И поскольку в прошлом он побывал на Колыме, нам было ясно, что это не стишок, взятый у кого-то напрокат, а глубокое убеждение, вынесенное из его жизненной практики.

В заключении Петя сумел сохранить себя, как в консервной банке: разлагаясь изнутри, психически, имел не по возрасту здоровую оболочку. Вот еще штрих к его портрету: консерватор по натуре, он вдруг стал копировать йогические позы, наслышавшись со стороны об их чудодейственной оздоровительной силе. Он стоял на голове, застывал на одной ноге, задерживал дыхание. Но делал упражнения всегда на свой манер: помню, стоя на голове, он "крутил велосипед", "дрыгал ногами", "делал ножницы" и даже ухитрялся изображать руками ветряную мельницу. Кстати, все его физические упражнения изображали либо какой-то процесс труда, либо действия движущихся животных. Так, он любил с громким хеканьем "рубить дрова", "крутил ворот", как

бы доставая воду из деревенского колодца, носился галопом, цокая языком и топая копытами, как лошадка.

Еще одна нетипичная особенность Пети заключалась в том, что его отчужденность, озлобленность, ненависть были явными — в его речи, манерах, во всем его облике. Если другие, "типичные полицаи" скрывали свою неприязнь к "скубентам", отворачивали глаза или угрюмо отходили прочь, то Петя мог ходить по камере, побледнев, сжав кулаки, пиная ножки кроватей, стены, бросая исподтишка испепеляющие взгляды на очередной объект своей ненависти.

Или еще: все его "коллеги" хотели есть каши до отвала каждый день, но никто не роптал, не выражал своих желаний так, как Петя: периодически он набрасывался на радио, бил репродуктор и требовал от него: "Каши давай!", а потом ненадолго застывал в угрожающей позе, ожидая ответа. В редкие лирические минуты, а они наступали тогда, когда Петя наедался каши досыта, в минуту сытости, а потому и полного душевного умиротворения, Петя повязывал голову побабьи полотенцем, хихикал и вертелся, стараясь рассмотреть себя на доньшке алюминиевой кружки, которое он отполировал иголкой. Затем брал домино и гадал свою судьбу.

Я уже упоминал о его ненависти к сокамерникам. Ненавидел он их по очереди. Вначале, как помнится, у нас он ненавидел "Ревизиониста": пинал стену и бросал на него воинственные взгляды. Но тот не обращал на Петю внимания, поглощенный поиском смысла в "Диалектике природы". Затем Петя стал ходить, сжав кулаки, возле моей койки; бросая на меня трусливые взгляды, молотил воздух кулаками с всегдашним хеканьем и стонами. Сначала это меня позабавило, но потом стало раздражать. Тогда я не выдержал, взял его за шиворот и спросил: "Шьто, глаз на кулак хочэш?" — подражая кавказскому произношению. Дело в том, что еще год назад Петю стал крепко лупить тихий интеллигентный азербайджанец<sup>7</sup>: когда на крики "пострадавшего" прибежали надзиратели и стали выяснять, кто поставил Пете фингал, все сокамерники объяснили, что никто

Петю не трогал, а кричал он от скуки. Что касается явной улики, фингала, то азербайджанец добавил, что "он сам глаз на кулак положил". Вспомнив сейчас это изречение, Петя переключил свою ненависть с меня на Т. Как и других, в первое время Т. это забавляло, он подтрунивал над Петиными индюшачьими пантомимами, а тот увлекался все больше и больше и, наконец, стал передразнивать английский язык, к которому Т. часто прибегал, разговаривая со мной (это еще одна новелла: Т. попал в карцер за драку с литовским полицаем. Вернувшись оттуда, он обратился ко мне по-английски: "Я не буду больше разговаривать по-русски. Я не хочу ни с кем из них говорить. О, как я ненавижу этот народ!" Я был тихо потрясен его словами, но виду не подал: знал, что со временем он оттает. Так вот и появился у нас в камере английский в качестве разговорного...). Но в последнее время ненависть Пети уже стала его раздражать. Засыпая в ночь перед моим днем рождения, я думал, что Т. скоро побьет Петю и это произойдет после того, как Петя, съев ларек, будет ходить, злой и голодный, по камере, и что надо позаботиться, чтобы Т. не посадили за Петю в карцер... Потом я подумал, что батон белого хлеба и пайка маргарина завтра вполне могут заменить за праздничным столом пирог со свечками — все в мире относительно. И еще подумал, что праздновать свой день рождения вместе с дядей гораздо лучше, потому что сияние глаз окружающих в два раза ярче. Запоздало, в меркнувшем сознании вспыхнуло: "Наполеон... смысл жизни... будущее" — потом: "ларек... Петя..." и послышался грохот ключей в дверь и голос: "Приготовиться на оправку!".

\* \* \*

Наутро наступил новый день — день моего рождения. Наша камера шла на оправку первой, поэтому после подъема все зашевелились дружно, суетливо натягивали робы, заправляли койки. Первым меня поздравил "Ревизионист":

— Ха, вот так, в суете дней, часов и минут забывает человек обо всем — не только подумать о смысле своей суеты, это как раз простительно, ибо размышления о смысле жизни — идеалистическая бессмыслица, но человек забывает подумать о жизни своего ближнего, забывает задать себе вопрос: вот, рядом со мной в камере живет человек, значит, он когда-то родился, значит, у него есть день рождения. Но человек, у которого есть день рождения, ждет, чтобы другие люди одобрили существование этого факта. То есть его поступок, его решение появиться на свет! Каждый человек нуждается в одобрении его появления на свет другими людьми, ибо даже самый напыщенный и самодовольный дурак хоть раз в жизни сомневается — правильно ли он сделал, что появился на белый свет!

Заскрежетал ключ, защелкали замки, отрывистая команда: "Выходи!"

— Хи-хи-хи, — опять завизжал Петя, — жил дурак себе с усам — появился на свет сам, — и бросился в туалетную комнату.

Сегодня была наша очередь с Т. выносить из камеры "парашу". Но когда я наклонился, чтобы взяться за ручку обыкновенного молочного бидона, только выкрашенного в красный цвет, "Ревизионист" бросил заправлять койку и, отстранив меня, сказал:

— Захватишь мое мыло и полотенце, а мы с Т. вынесем этот сосуд мерзости, — и, взглянув на "Рыжего", добавил: — Да не осквернится человек "парашей" в день своего рождения!

— Пусть человек снимет промокашку с лампочки, а не то он осквернится наказанием, — в тон ему отозвался "Рыжий", красноречиво поглядев на меня.

— "Рыжий" — человек, — я подмигнул ему благодарно, встал на койку и сорвал обгоревшую промокашку.

После "оправки" Т. и "Ревизионист" подарили мне поздравительные открытки, Женька пожал руку, Петр Евстафьевич торжественно пожелал "многих лет здравия" и

”чтобы Бог тебя не оставил”; Петя-полицай топтался возле койки, бледнел, краснел, наконец, издав тихий смешок, пробормотал: ”Человек живет-живет, а потом возьмет — умрет! Вот!” Повернулся ко мне боком, весь задергался и, выбросив ладонь ко мне, еще пуще побледнев, выпалил:

— Ну, живи-живи! Вот!

— Да ты не волнуйся так, Петя, — дружелюбно отозвался я, — не у тебя же день рождения!

С завтраком в этот день нам не повезло: ни селедки, ни кильки не выдали, и мы без аппетита пожевали хлеб, запивая ”баландой”. Но через некоторое время надзиратель раздал ”квитки”<sup>8</sup> на ларек, и мы воспрянули духом. Тут же нас вывели на часовую прогулку. Увы, после прогулки ждала неожиданность: стали по одному вызывать к замначальнику тюрьмы по режиму и распределять по рабочим камерам. Мы с Петей как некурящие попали в одну камеру.

Рабочая камера была по размерам куда больше жилой, в ней размещалось девять человек. Расстелив матрас на свободной койке и разложив книги, я стал обдумывать, что конкретно можно сделать, чтобы администрация тюрьмы снова перевела меня назад — в камеру нерабочую. В шестьдесят четвертом году, пройдя полагавшийся по приезду в тюрьму из лагеря ”карантин на строгом режиме”, т. е. на пониженной норме питания, я тоже был направлен в рабочую камеру общего режима. Работой я тогда тяготился, мне хотелось сидеть сутками в карцере и решать мировые проблемы — ”одухотворяться”. Что делать, как ”закрыться”, то есть попасть снова в нерабочую камеру, но уже из общего режима? Туда можно было попасть, не совершив ”нарушения” только, если в тебе не нуждались как в рабочей силе. То есть нужно было ”просто” не понравиться мастеру. Я стал изображать лентяя и тунеядца, когда мастер появлялся в цеху. Но мастер поступил элементарно правильно — он пожаловался администрации, и меня предупредили, что накажут. Кроме того, на очередной политинформации воспитатель специально в мой адрес прочел лекцию, что, во-первых,

труд создал из обезьяны человека и, во-вторых, труд облагораживает. Я догадался, что если буду изображать лентяя, меня снова посадят на полгода на строгий тюремный режим, а там почему-то мысли от мировых вопросов постоянно увиливают в "хлебную сторону". Помнится, я тебе уже писал про юного литовца Ш., которому каждую ночь снился сон, как он, радостный, несет в камеру торбу черного хлеба и просыпался, когда пытался ее развязать. Остальные его сновидения состояли исключительно в том, как он искал во сне пропавший мешок. Нет, на строгий режим я решительно не хотел. Тогда что?

Стал корчить мастеру противные рожи, надеясь, что его эстетическое чувство возмутится и он не захочет держать в своем цеху такого отвратительного кривляку. Опять — увы! Он стал преследовать меня: делал замечания, жаловался администрации и т. д. — что оборачивалось новыми наказаниями.

Наконец я догадался оглядеться вокруг и увидел, что в столярном цеху строгают, сбивают, сколачивают, не покладая рабочих рук, не только "номенклатурную продукцию", но и наверняка не влезавшие ни в какую номенклатуру изделий двери, рамы, табуретки, подставки и им подобные изделия, которые потом уносились из цеха на чьих-нибудь по-хозяйски озабоченных плечах. Я стал демонстративно, в присутствии мастера, расспрашивать наших "краснодеревщиков", куда плывут все эти вещи и существует ли хоть какой-нибудь обратный приток в виде сигарет, колбасы и чая в пользу "мастеров-умельцев". Нет, притока не было; и тогда я стал проводить разъяснительную работу среди "краснодеревщиков" о том, что "левая работа" на таких условиях не имеет смысла. Эти разговоры я вел на глазах у мастера, и результат не замедлил последовать: мастер заявил администрации, что он прекрасно обойдется без меня. Меня перестали выводить на работу, а вскоре вообще перевели в камеру, где собрались такие же "хитрецы", вроде меня, плюс немощные, типа Пантелеймона Евстафьевича,

обремененного пудовыми грыжами. Теперь я знал: мастера недавно сменили и потому мне предстояло изобрести новый способ возвращения в нерабочую камеру.

Я вспоминал некоторые способы, к которым прибегали другие эски, но ни один из них меня не устраивал, особенно такие, где путь освобождения от работы лежал через карцер.

Размышления мои оказались, однако, напрасными — случай распорядился по-своему, и он вернул меня в нерабочую камеру именно через карцер.

По коридору послышался топот ног, шум — и в камеру ввалились ее постоянные обитатели: они как раз вернулись с работы. Разглядывая лица-маски, заполнившие помещение, я вдруг почувствовал, как тоска зеленая стала душить меня за горло. Все семь "некурящих" оказались полицияями, во главе с бригадиром. Я уже знал заранее, как невыносимо сидеть взаперти с этими угрюмыми, злобными, мелочными и болтливими людьми.

Они, например, несколько дней подряд читали друг другу поразившую их заметку в газете, норовя при этом пересказать всю свою жизнь, — кроме той, конечно, ее части, которую они скрывали друг от друга и которая как раз и была у них всех схожая, как две капли крови. Или они коллективно играли в шашки и домино и даже становились завзятыми болельщиками футбола, лишь бы не оставаться наедине со своей душой, лишь бы убежать от времени, которое стало для них могилой. Они не выключали радио от подъема и до отбоя, ибо оно создавало для них тот шум, то отвлечение, которое уставал создавать их деревянный язык и скудное воображение, и они погружались в радиокрик, потому что он заглушал их внутренний крик — страх душ перед разверзшейся пропастью каменного небытия.

Работа в тюремном цеху была для них единственной оставшейся формой человеческого существования.

Любопытно, что и Петя, хотя он оказался среди "своих", не радовался: во всяком случае, я не видел ни удовольствия на его лице, ни дружеских объятий. Почему? Работа в то вре-

мя не была строго нормированной — за выполнение задания давали вознаграждение в два с половиной рубля в месяц на ларек и всей камере дополнительную стограммовую пайку хлеба в день. С такой работой Петя вполне мирился, и его явную для меня растерянность нужно было объяснить чем-то другим. Думаю, что, несмотря на то, что среди политических и уголовников его нет-нет да и поколачивали, но там ему все же было веселее сидеть. Да и такой факт примем во внимание: если когда-нибудь к камере подъезжал раздатчик с остатками каши, то она вся доставалась Пете — остальные из принципа отказывались от объедков.

Тут как раз и ужин подъехал. Кто поместился за столом, ну а кому не хватило места, уселся есть на койку. Я каши не взял, у меня пропал аппетит, к тому же я ожидал "ларьковые" батоны с маргарином. Полицаи к еде относились серьезно и потому притихли. В этой тишине громко кричало радио, которое я, войдя в камеру, выключил, а кто-то из них — включил. "Черт бы всех побрал, — думал я, сидя на койке и слепо глядя в раскрытую книгу, — то орут полицаи, то орет радио. И теперь этот крик надолго. Что делать? Остается, видимо, одно: закрыть грудью амбразуру".

Я вскочил с койки и бросился к радио. Выключил его и в наступившей тишине наставительно произнес: "Существуют неписанные зэковские порядки: включать радио в шесть утра и в шесть вечера на время последних известий. Кто включает, тот и выключает. Сокамерник уважает тишину и не давит на барабанные перепонки соседа — вот с сегодняшнего дня наш с вами лозунг. Идет, мужики?" И я снова включил радио: "Я — демократ, мужики. Кто включил радио, тот может его выключить". Тут состроил дружелюбную рожу и всем своим видом как бы подбадривал стеснительного мужичка пройтись перед всеми и выключить радио.

Они сначала ошарашенно смотрели на меня, а потом раздалась возгласы: "Оно нам не мешает! Да откуда оно такое взялось, чертня! Скубентик разошелся!". Раздавались



еще более "крамольные" возгласы. В рядах полицаев, как пламя, разгорался бунт.

Надо было пресечь зло в корне.

— Ну, что ж, друзья, на первый раз я сам выключу радио, — снова обратился я к бунтовщикам. — Но в следующий раз заставлю выключить того, кто включил его.

Тут поднялся с места рыжий полицейский и двинулся к радио, за ним двинулся другой. Я преградил дорогу. Полицейский выбросил вперед руку, собираясь ударом отбросить меня с дороги. Я автоматически сделал шаг левой в сторону-назад, и он стал проваливаться корпусом вперед, вслед за рукой. Все так же автоматически моя правая, чуть согнувшись в локте, пошла резко навстречу челюсти падающего полицейского. От удара он рухнул как подрезанный. Следующий за ним полицейский растерянно застыл, а затем бросился к сигнальной кнопке. Я настиг его, схватил за шиворот, попытался отбросить назад, но мой рывок в эту сторону увяз в третьем полицейском, бросившемся мне сзади на спину. На мне был бушлат, и это сковывало движения. Дальше... Дальше началась беспорядочная потасовка, меня повалили, и я запомнил лишь лицо Пети, который старательно целился носком сапога врезать мне между ног, но никак не достигал цели, потому что ноги я зажимал. Он прятал от меня лицо за чью-то спины, когда встречался со мной взглядом. Так Петя и поздравил меня с днем рождения — не только рукопожатием, но и, как бы выразиться... ногоприкладством.

То ли бушлат смягчал удары сапог и ботинок полицаев, то ли я не ощущал боли в горячке драки, но я резво отбрыкивался, и мне даже удалось снова подняться на ноги. В это время открылась дверь камеры, и, так как драка происходила у самой двери, мы вывалились в коридор. Энергия движения была так велика, что два полицейских отлетели к противоположной стене коридора, а я был разгорячен потасовкой настолько, что не сразу сообразил про присутствие надзирателей и снова бросился в драку. Меня схватили два мощных надзирателя...

Полицаев закрыли в камеру, а меня повели в "дежурку". Уже идя по коридору, я вдруг заметил, что иду в одном тапочке. "Где же мой тапочек?" — растерянно спросил надзирателя. "Ты за карцер думай сейчас, а не за тапочек", — проворчал корпусной и пошел искать мой тапочек.

Я шел по коридору в одном тапочке, и мне было страшно весело, но я изо всех сил старался сдерживать себя, так как знал, что такой смех переходит черту знает во что — весьма неприличествующее даже настоящему мужчине. Через полчаса мне зачитали постановление о водворении в карцер на пятнадцать суток.

Когда за мной захлопнулась дверь ШИЗО, я постоял некоторое время в задумчивости, вбирая в себя одиночество стен. Потом возбужденно подпрыгнул и сказал себе: "Прекрасно! Ты получил больше, чем мог желать здесь, в тюрьме: одиночество, благостное, сладостное, сосредоточенное, тихое и так далее одиночество — в подарок в день своего рождения". Так восторгался мой дух.

Но тут заговорила, вернее, заньла измочаленная плоть, и мне пришлось добавить: "Синяки — ох! — и унижение — тьфу! — которые ты получил в нагрузку к подарку от милостивой судьбы, ничего не стоят и не могут отразиться на твоей радости. Так же, как холод, голод и "самолет"<sup>9</sup> — ничто для твоего наполеоновского духа. Более того: они послужат укреплению твоей воли, будут почвой, на которой возрастет твоя небывалая духовная мощь. Наполеон позеленел бы от зависти, узнай он, как тебе повезло". Плоть смирилась, и мой дух самоуверенно продолжал: "Пятнадцать суток ты сможешь спокойно предаваться с утра до вечера возвышенным размышлениям ("и даже ночью!" — ехидно откомментировала плоть, ибо именно ей предстояло мерзнуть ночью на жестких досках лежака). Двери сокровенной мудрости, — продолжал дух, — распахнутся, и ты войдешь в святилище Бытия. Ты узришь не только смысл собственной жизни, твоих непрерывных невзгод, но и смысл Бытия Вселенной, ее начало и конец, ты увидишь саму вечность, и тебе откро-

ется поток жизни и бессмертия. И тут-то ты станешь всемогущим. Что там хождение по огню, пребывание замурованным по сорок дней без воздуха, воды и пищи, сидение голым сутками на снегу в Гималаях и прочие фокусы йогов! Что там "самадхи"<sup>10</sup>, которое достигается на одно мгновение годами тяжелого труда! Ты будешь находиться постоянно в состоянии "самадхи"...

Я, наверное, окончательно успокоился, пришел в себя, так как внезапно почувствовал, как холодно в карцере, и по телу поползли мурашки и мелкая дрожь, как морская рябь перед штормом.

"Так, сейчас согреемся, — сказал я себе, причем очень бодро. — Прежде всего, сосредоточимся, отрешимся от всех волнений. Я ни о чем не думаю. Я сосредоточен. Мне становится тепло. Мне тепло. Мне теп-п-п-ло, — я застучал от холода зубами. — Вот черт, почему же мне не тепло? Может быть, надо лежать, а не ходить? Нет. Каждая минута на этом цементе станет дыркой в легких — лежать нельзя! Так. Начнем по-другому. Я — дух. Я — всемогущ. Мое тело становится теплым. Мне тепло!". Мое тело уже сверху донизу было покрыто гусиной кожей, и холод добирался до сердца. Тогда, удивившись, что дух не хочет проявлять свое могущество, я решил согреться старым физическим способом: пустился рысью от стены до стены — три прыжка вперед, три прыжка назад...

Дальнее звяканье ключей и скрежет замков, и скрип — я уже знаю, что это открывают дальнюю дверь, ведущую в тамбур, по обе стороны которого располагались двери карцеров. Что произошло? Вот заскрежетала и дверь "моего" карцера.

— Ларек сегодня выписывал? — спросил корпусной.

— Выписывал.

— Ларек принесли, но вы его получите только через пятнадцать суток. Ясно?

— Этой грамоте обучен. А вот бушпатец надо бы дать, старшой, а то дуба врежу.

— Не врежешь, а бушлат проси у врача. Но это уже завтра, на обходе. Вопросы еще будут?

Дверь захлопнулась. Тепло, которое я нагнал себе бегом, испарилось, и теперь мне снова надо было согреться каким-то способом — то ли самовнушением, то ли бегом. К ощущению холода прибавилось предательское ощущение голода: это было трансцендентальное воздействие двух ба-тонов и двух пачек маргарина, лежавших за стеной. Но — удивительно — после разговора с начальником корпусной смены во мне произошла поразительная метаморфоза: когда за ним закрылась дверь, я ощутил себя бесконечно удаленным от всего происшедшего, как будто между тем, что было сегодня, и настоящим одиночеством пролегли дни, нет, месяцы, нет, годы. Оно отодвинулось и скрылось в сумерках памяти. Так я встретил свой день рождения во Владимире.

Я остался наедине с собой, и нам уже никто не мешал беседовать друг с другом, задавать искренние вопросы и получать искренние ответы (правда, на многие из этих вопросов я не нашел ответов и по сию пору). Нас как бы было трое: "я — в настоящем", "я — в прошлом" и "я — в будущем", и эти трое могли толковать о чем им угодно. "Я в будущем" пытался удалиться в область абстрактных вопросов, в область неразрешимых проблем, вроде смысла жизни, бессмертия, взаимоотношений духа и тела. Но, наученные тюремным опытом, прошлое и настоящее старались заниматься конкретными вопросами, ибо от их решения зависело немало — может быть, даже все, даже самое мое существование. Они, помню, спрашивали: "Кого ты любишь? Кого ненавидишь? Что для тебя дорого? Какую осуществимую цель ты видишь в своей жизни? На что ты надеешься?" и т. д., вплоть до простейших вопросов о том, чем придется зарабатывать на жизнь после освобождения. Признаюсь тебе, что тогда я предпочитал вопросы вечные сиюминутным. Почему? Из тщеславия? Из юношеского легкомыслия? Не знаю. Может быть, потому, что в те годы мое сознание было

потрясено абсурдностью окружавшего меня мира, противоречием между миром идей и реальностью (я, кажется, уже писал тебе об этом), и, видимо, все мое духовное существо отталкивалось от прозы нашей жизни, от обыденных человеческих целей и интересов. А это, в свою очередь, побуждало искать смысл жизни, и поиски завершались часто серьезным сомнением: стоит ли жить вообще?

## Глава вторая

Здесь мне кажется уместным поговорить о тех мыслях, которые и тогда и потом меня занимали.

В чем разница между уголовником и политзаключенным?

Уголовник противопоставил свои интересы обществу, политический заключенный, как правило, пожертвовал собой ради общества. Уголовник в душе, во всяком случае, всегда осознает свою вину и преступность, политический — обычно считает себя праведником. Почему же их содержат в одинаковых условиях?

Общепризнанным правилом современной юриспруденции, в том числе действующей в нашей стране, является следующее: пока человек является членом данного общества, закон охраняет его нравственность и здоровье. Ибо любой человек, в том числе и преступник, представляет собой абсолютную ценность, проистекающую из его свободы воли, творческого разума и связей с остальными членами общества. Сам факт его существования, его судьба — все воздействует на нравственное и духовное состояние других людей, особенно на его детей, которые получают от него здоровье — физическое и нравственное. Именно поэтому закон охраняет человека, даже если он временно переступил его, закона, рамки и находится в его карающей власти, т. е. заключении. Подрыв здоровья, ограничение возможностей совершенствоваться интеллектуально и нравственно — преступление не только против данного преступника, но и против самого общества.

Таково общее положение. Но когда администрация пытается регулировать поведение политзаключенных, исполь-

зую голод, холод, сон, труд, она удваивает свое обычное издевательство над человеком и человеческим достоинством. Потому что воздействие жестокими условиями режима на человека, чтобы заставить его изменить мировоззрение, есть посягательство на основные права человека: на свободу его мнений, убеждений, совести, на свободу выражать свои убеждения.

Видимо, потому, что начальство само осознает то, что оно делает, в СССР официально отказываются признавать само существование политзаключенных. Мне доводилось слышать такой аргумент против признания особого статуса для политзаключенных в СССР, единственный, который показался мне основательным: так как статус политзэка позволяет не работать и пользоваться материальной поддержкой международных организаций, то в политлагеря устремятся массы ленивых и голодных уголовников. Это вполне реально: ведь даже сейчас, когда политические содержатся в тех же режимных условиях, но в отдельных лагерях для особо опасных государственных преступников — даже сейчас уголовники иногда совершают у себя в зонах политические преступления, чтобы попасть в политзону. Зачем? Иногда боятся мести в своей среде за какой-либо проступок, иногда питают иллюзии насчет режима у политиков — там-де живут богато, там-де можно грабить "фраеров" и жить за их счет.

Решение проблемы в принципе-то простое: уголовников, совершивших "политическое преступление", следует содержать не среди других политических, а среди таких же, как они, беглецов из уголовных зон. Оказавшись среди таких же, как они сами, уголовники тут же исполняют "голубую мечту" начальства: сядут писать слезную жалобу о раскаянии, желании исправиться, преданности власти и единственном желании: чтобы им сняли политическую судимость. Такое уже сейчас бывало — в той же Владимирской тюрьме. Но почему, спрашивается, начальство до сих пор не пользуется этой возможностью "твердо поставить политзаключенных воров на путь исправления"? Потому что они играют

в зонах специфическую роль — роль орудия репрессий и провокаций по отношению к настоящим политзаключенным.

Конечно, многие из них тоже испытывают ненависть к властям, да и ко всему обществу. Но их отличие от настоящих политиков в том, что они видят жизнь и общество только с отрицательной стороны. Это лишает их веры в человека, в идеалы справедливости и добра. Они верят лишь в возможность личного блага за счет других. Поэтому уголовников хватает на то, чтобы чувствовать недоверие и злобу к властям и обществу, но они не могут подняться до осознания гражданского долга и служения общественному благу.

\* \* \*

В те дни в камере я сопоставлял феномен лагерей с феноменом духовной сферы, познанным мною в книгах. Как я не сошел тогда с ума? Вся литература, которую я читал, всегда утверждала мощь и величие человека, а все, что я видел, — говорило о его униженности и ничтожестве. Человек жестоко расправлялся с другим человеком. Вдобавок, в лагере я пережил сильнейший кризис мировоззрения, связанный с марксизмом. Отношение к нему почти как к божественному откровению, свойственное мне в юности, подверглось сильному испытанию. История лагерей не поколебала меня — лагерь можно было отнести к "извращениям" — сама, мол, теория тут ни при чем. Нет, испытанию марксизм подвергся на куда более глубоком уровне — на философском. Ницше и Фихте, Вл. Соловьев и Достоевский, Фрейд и экзистенциалисты, Томас Манн и т. д. — все они рисовали мне мир, весьма отличный от мира диалектического и исторического материализма.

В скобках отмечу такой парадоксальный эффект: немарксистская литература примиряет с социальными противоречиями, с жестокостью в жизни, с неравенством, с межличностной борьбой индивидов и, увы, с несправедливостью.



Этот эффект возникает в нашем, во всяком случае, обществе таким путем: обычный советский человек про себя возмущается несовершенством окружающего мира, потому что по внушенной ему теории этот мир должен постоянно приближаться к совершенству. Этой теории человек верит и все беды относит за счет практиков, ее воплощающих. Познакомившись с мировой литературой, он видит, что притязания марксизма устроить мир волшебным-прекрасным образом — наивны. Мир всегда был и будет далек от идеала, и баланс справедливости и несправедливости в обществе зависит от всего строя жизни, от культуры, от духовного и нравственного развития всех граждан. В результате знакомства с мировыми философами с марксизма спадают "божественные покровы", он становится еще одним учением в ряду других, время которых приходит и уходит, — и человек начинает шире смотреть на общественную жизнь и принимать ее противоречия и несовершенства.

Как видишь из моего перечисления имен и групп — бунтари рождаются именно из юных марксистов! Немарксисты же философски спокойно относятся к социальным проблемам и жизненным неурядицам.

Возможно, в те-то дни я окончательно "рассчитался" с Марксом. Знакомство с литературой о человеке помогло мне уяснить окончательно то, о чем раньше я смутно догадывался, вернее, предчувствовал: в марксизме нет человека как предмета познания, а есть лишь модель его, причем упрощенная — та, которая нужна для формальных логических операций в политэкономии. Человек в марксизме присутствует как абстрактная единица, представитель класса: ведь марксизм — это учение об обществе, и в качестве такового он и должен оперировать упрощенными моделями как самих общественных процессов, так и "общественных молекул", т. е. людей. По сути сложнейшие жизненные процессы сведены к механико-экономическим и выражена вера, что найден ключ, принцип перестройки общества в гармонически вечную структуру. Такой структурой априорно счи-

тается та, в которой различные абстрактно мыслимые модели и общественные единицы расположены в гармоничном порядке, согласно закону исторического развития структуры общества, открытому Марксом посредством спекулятивного анализа развития экономической основы общества — его базиса. Увы, ясно, что реальные процессы, происходящие в обществе, и силы, действующие в нем, гораздо богаче и не поддаются ни познанию, ни учету, ни предвидению во всем объеме и значении. Поэтому предвидеть и познать гармонически непротиворечивые общественные структуры принципиально невозможно. Главный просчет Маркса, по моей тогдашней оценке, крылся даже не в малом значении, которое он придавал духовному компоненту жизни общества и его личностному носителю, но именно в идее насильственного создания гармонической структуры общества. Безусловно, Маркс был историческим провидцем: сломать старую структуру и создать новую, согласно его схеме, оказалось возможным. Но надо было еще загнать в эту схему реальных людей, живые человеческие отношения и потребности. Увы, люди и жизнь вылезали за рамки схемы; функциональная гармония общества вроде достигалась, но при этом человек находился в дисгармоническом отношении к этой функционирующей системе. Абсурд! То же противоречие, что в старину: "Человек для субботы или суббота для человека". В гармонически функционирующей марксовской системе человек перестает быть свободным существом, т. е. самим собой. Его должны "ломать", чтобы он усвоил новое функциональное место в структуре и обрел новое бытие. В этой ломке, кстати, смысл и лагерей и карцера (в котором я в то время как раз размышлял об этих проблемах).

На Западе, думал я, социалисты успели понять это противоречие и скорректировать практическое движение за переустройство мира. У нас же строительный материал — человек — ускользнул из поля зрения строителей общественной гармонии. Он оказался существом "несовершенным, несозревшим" для марксова идеального общества — это, ка-

жется, понимают уже все. Теперь в нашей стране надо вернуться назад, к исходным расчетам, приложить усилия к познанию психологии, в том числе социальной психологии, и внести коррективы в схему гармонии. Грубо говоря, марксизму надо обрести свое понимание человека на уровне, достигнутом, например, христианством или психоаналитической школой. И пока этой корректировки учения Маркса на углубленное познание сущности человека не будет сделано, до тех пор просуществует чудовищное несоответствие между воплощением идеи и продуктом этого воплощения — новым человеком. Почему чудовищное? Потому что именно жуткого, невероятно пугающего человека я увидел в недрах нашего социального общества. Хотя бы в тех недрах, куда судьба закинула меня в шестьдесят втором году и где десятилетиями ежедневно живут миллионы людей, в самом цветущем возрасте — как правило, молодежь, проходящая там воспитание, прежде всего, наукой ненависти, злобы, лицемерия и насилия.

\* \* \*

Был у меня памятный день рождения и в этот срок, второй. Опишу тебе его, пожалуй. Он запомнился не дракой, которая произошла в моем присутствии (в этот раз я вовсе не дрался), а самим человеком, спровоцировавшим драку.

Вот тебе его портрет.

Уголовник старого закала, существо по-своему колоритное. В нем как бы в кучку собрали то, что штрихами разбросано по другим уголовным "типажам". Он некогда "крутился" среди настоящих воров, хотя, конечно, "канал" там не по "первому кругу". Не знаю точно, как и когда подхватил он пятьдесят восьмую статью и попал в наши лагеря. Здесь он "притасовался" к студентам. Им он был интересен как представитель неведомого уголовного мира, знаток его тайных законов, обычаев и норм. У него был богатый жизнен-

ный опыт, в том числе лагерный, и он умел рассказать о нем. Его же, в свою очередь, тянуло к их знаниям, интересно было испытать себя: может ли постичь "книжную премудрость", сравняться с "додиками", которых папы и мамы с детства пичкали знаниями. Сможет ли он, как они, много читать и научиться рассуждать на литературные и философские темы? Ущемленное самолюбие вперемежку с тщеславием рисовало ему захватывающую перспективу: он сравнивается с ними образованностью, и тогда выступает на первый план превосходство его жизненного опыта — так, естественным манером, утвердится его авторитет среди студентов. Он знал значение авторитета у "воров в законе", походило, что его претензии на этот счет среди "блатных" не были удовлетворены, и самолюбие теперь создавало фантазию завоевания авторитета у "студентиков". Отношение его к ним было амбивалентным, двойственным: как всякий беспризорник, он ненавидел "маменькиных сынков" и одновременно искал их признания. Таких уголовников, тянувшихся к "студентам", в свое время, по рассказам, было немало, но большинство сразу понимало, что интересы и миры — несовместимы, и поэтому внутренне отстранялись, не имея в душе ничего против "политиков" и сохраняя к ним, внешне во всяком случае, уважительное и терпимое отношение<sup>1</sup>.

"Шовинист"<sup>2</sup> — такова была кличка этого уголовника, — естественно, не сумел покорить "студентов". Тогда... тогда — обычное дело: он стал распространять миф о якобы существующих идейных расхождениях с ними, мол, поэтому и происходит между ним и "студентами" борьба равных по силе мировоззрений. Собственно, "шовинистом" он сам себя и прозвал — это была как бы новая его визитная карточка. За ее фасадом надо было создавать особый внешний образ, как бы намекающий на богатый внутренний мир и некие духовные, не оцененные внешним миром ценности.

Что получилось в результате этой противоестественной гибридизации уголовных черт характера, образа жизни и убеждений (от них он не отказался) с нахватанными по-

лузнаниями и жадной утверждения в новом образе христианина? Вышел удивительный плод.

К примеру, он нацепил на шею крестик и каждое утро и каждый вечер демонстративно-скромно молился, становясь на колени у себя в углу на нарах. Через пять минут после молитвы он крыл всех матом.

...Тут я хочу сразу и вперед оговорить, что всегда воспринимал его христианство как маску, мимикрию. В лучшем случае для него это был надрыв души, однажды ощутившей глубокое одиночество, отчаявшейся и возжелавшей обрести новое бытие, или хоть надежду на него, хоть что-то святое в жизни. Он и схватился за крест, как утопающий, но это было мгновение, секундное просветление души, опьянение ее, какое случается и с самым последним человеком, прожигой, на котором, как говорится, и пробы-то негде ставить.

Мгновение это, однако, не изменило его душу, не перевернуло, не обновило человека для новой жизни. Душа его не воскресла. Хуже того, в душе произошло губительное опустошение от неестественного скрещивания старого и нового, и надрыв протянулся во времени, материализовавшись вовне в химерический образ. Но почему надрыв получил именно такую, христианскую маску? Потому что в свое время пришли в зоны глубоко верующие люди, заразили одних верой, других — подражанием вере, и таким образом образовали моду для пустых, ищущих лишь привлекательную маску, чтобы, прикрыв ею свое ничтожество, повисить собственную ценность в глазах окружающих.

Не я один — все воспринимали "христианство" "Шовиниста" как маску — верующие и неверующие одинаково. Допустим, мы все ошиблись, в том числе и я, — все может быть, — но основная доля вины за ошибку лежит на нем, на его личности, на его поведении. Молиться, носить крестик, видимо, казалось ему малоэффективной демонстрацией веры, и он выбросил матрас и устроил себе постель аскета: сшил ватную подстилку и покрыл ее парой дерюжных мешков —

так и спал на этой дерюге, "как аскет", а чтоб совсем по-настоящему выглядело, он и не раздевался на ночь.

Был он речист, часто в разговорах проскальзывали тонкие наблюдения, сдобренные юмором, умел он подметить в человеке характерное — но о чем бы ни говорил, с чего бы ни начинал, обязательно возвращал разговор к самому себе, и тут он — прямо или косвенно — все старался принизить до своего уровня, всех и все обругать: науку, интеллигентов, атеистов, лицемеров, верующих, народы, государства, гениев, ученых, психологов, литераторов, медиков — и, в первую очередь, сокамерников. Он стремился утвердить веру в себя и потому приходилось так страстно ругать других — это было единственным способом самоутверждения, так как ни действием, ни творчеством (а чем еще человек может утвердить себя среди людей?) — ничем иным он свою личность не созидал.

Забавная деталь: он пытался украсить свою личность, спустив для этого с небес высшие силы, чудеса, тайны! Он ими окружал свой быт, поселив обитателей небес и подземлий в снах, чувствах и поступках. Так, он разукрасил свой суд (это был второй суд: спасаясь от мести "коллег" — проигрался в карты, — он "выбросил листовки", чтобы получить политический срок и попасть в нашу зону, где, как считал, уголовникам приволье) : в его судебном заседании участвовали ангелы, присутствовали иные высшие силы и шныряла всякая парапсихология...

— Как же, — спрашиваю я наивно, — вот ты внушил речь прокурору, загипнотизировал судью, ну и со свидетелями произошла всякая чертовщина — и все для того, чтобы тебе дали десять лет?

— Да, десять, тут вмешались силы повыше моих. Помню, веду я... кхе-кхе... речь прокурора и чувствую вдруг — стоит рядом! Каким-то страшным холодом и как бы магнитом тянет меня... Вот она, судьба моя, сука, и пронеслась тогда.

...Тот день рождения был обычным лагерным днем моей

жизни. С друзьями я "вспрыснул цифирем" мою "дату" на работе. В камере, не объявляя про день рождения, отдал на "общак"<sup>3</sup> "вагон" (т. е. пачку) чаю: кроме меня, из политических в камере был один "свидетель Иеговы", все остальные — уголовники.

Первый раз заварили, вернувшись с работы. Чифирнув, я залез на верхние нары, взял в руки "Преступление и наказание" Достоевского — книгой я отгораживался от остальных сокамерников и в основном от надоедливой "Шовиниста" — и погрузился в воспоминания, которые могли бы хоть как-то украсить этот день и развеселить душу. Но, видимо, потусторонние силы и впрямь проникали в быт "Шовиниста" — бес шпынял его в тот день под ребро. Возбужденный чаем — он его и на работе уже глотнул сегодня пару раз, — "Шовинист" сел напротив меня, у печки, и, я видел это, нетерпеливо ерзал на месте от желания излить свою душу.

Зыркнув раз-другой на мою книгу, он растянул губы в ироническую ухмылку, но сдержал себя. Взял журнал "Вопросы психологии", водрузил очки на "негритянский" нос и деловито, глубокомысленно зашуршал страницами.

Но долго не выдержал:

— Слушай, ты, — это ко мне обратился. — Можешь на минуту оторваться? Вот ты одну страницу уже полчаса читаешь... кхе-кхе... Значит, что-то тебя зацепило?

(Я, действительно, не читал книгу вовсе.)

— А что?

— Вот объясни мне, как он, сволочь, мог знать такие тонкости души? Ведь есть вещи, какие не вычитаешь в книжке. Пусть любой твой ученый тома напишет, но что он может знать о страхе или агрессивности, если всю жизнь с одного кресла в другое пересаживался: с детского стульчика — за парту, потом — университетская скамейка, потом — кресло начальника, потом — ученого мужа, и единственное место, где он воевал, — это ложе жены. Вот и вся агрессивность и весь страх его жизни. Вот он тут пишет, твой доктор наук, — он вдруг снял очки и стал вычитывать, кривясь и гримас-

ничая: "О теории агрессивности на основе изученных явлений агрессивности, фиксируемых изменением синуса равной кривой на экране "Эпигма" в лабораторных условиях"... Га!!! — он демонстративным жестом опять надел очки и посмотрел на меня. Его толстые губы расползлись до ушей: — Вот дает, сука! Одним названием, как длинным дрючком, дураков глушит! Нет, чтобы написать скромно: "Об агрессивности" — что, мол, я, ученый шарлатан, знаю о ней то-то и то-то, но сам не уверен, что вы не знаете о ней больше. А потому — хотите — верьте, хотите — не верьте. Ан нет, тогда каждый посмотрит и скажет: что же тут "докторского", эдак написать и я сумею.

— Чем длинней название, тем больший можно урвать за него клочок "шерсти", — откликнулся со стороны Костя "Промот", длинный, тощий, со свернутой набок харей уголовник, тасуя карты. — Я вот сейчас тоже — чем длинней поддержку банк, тем больше сорву шерсти.

Его напарники захихикали.

"Шовинист" не удостоил "плебея" ответом, хотя внутренне напрягся, кривя ухмылку, и, опять уставившись в журнал, принялся пересказывать для меня: "Вот он пишет, что подавленная агрессивность вызывает неврозы, а невроз обратно вызывает немотивированные вспышки агрессивности, то есть подменяет объект агрессии. Кто же этого не знает?"

Опять надел очки.

— Ванька бьет Маланьку, а Ваньку можно "секлей перешибить" — каждому ясно, что по пьянке он вымещает "агрессивность", которая у него от того, что вчера Петьку увидел. От вида Петьки — Ваньку в дрожь бросает, или, — как это здесь говорится? — сердце впадает в невроз. Это же он о страхе говорит? Но что этот профессор знает о страхе? Весь его страх — как бы кто портфель не отнял! А когда барак на барак ножи точит, знаешь ты этот страх? Или когда тебя, сука, пасут с "пикой" за голенищем, или когда ждешь "десант"...

"Шовинист" встал: он начинал входить в раж, и теперь



его уже ничем нельзя было остановить: для него неважно было, слушаешь ты его или нет, и вообще — слышит ли кто-нибудь его.

— Вот он знал, он сам каторжником был, — величественно указал пальцем на "Преступление и наказание", которое я держал в руках. — Я его, падлу, три раза перечитывал всего. Но и ему не все открылось. Есть вещи, которые улавливаешь нюхом, шестым, как говорится, чувством, — и будь ты хоть трижды гением, а раз не сподобился — не вымолишь. Какое он на твою душу влияние оказывает, ты осознаешь? Царапает поверху или глубоко вспахивает? Что ты говоришь себе, когда откладываешь книгу, а?

— Когда как, — сделал я дипломатическую попытку заткнуть фонтан красноречия, все мощней бивший из "Шовиниста". — Вот сейчас ты говоришь, а я тебя слушаю.

— Да это я просто так спросил. Не хочешь — не отвечай. Оно правильно: не всякому скажешь. У меня вот тоже... Но теперь можно сказать. Он мне, сука, душу перевернул. Я из-за него чуть жизни себя не решил, — явно распаял свое воображение "Шовинист". — Уже петлю приготовил, и тут меня осенило. Будто свет упал, и увидел я вещь, которая лежала под самым носом, но в темноте не мог ее нащарить. Высшая сила вмешалась. Он же мне тогда такую загадку задал, что я думал — все, теперь только в петле выход. Никто не мог разгадать: в книгах искал, у всех спрашивал, а были тогда ушные студенты, теперь таких нет, другая масть пошла — но все "порожняк", без пользы...

— Что за загадка? — спросил я спокойно: знал, что "Шовинист" "гонит тюльку" — представляется.

— Загадка? Хе! — арлекинская улыбка растянула его рот. — Вот как три раза прочитаешь Достоевского, может, на какой-то странице и потянет на тебя холодом — тут уж не зевай, жди. Ее надо самому открыть. Он, сука, может, и заразил Россию-то неверием. Атеисты-социалисты прямо Бога отрицали, ну, им мужик не верил. А этот шельма такую казуистику развел, что получалось, вроде — хочет он того или

не хочет, а Бога нет. Что он, сука, Бога искал, когда вот он дан тебе в Священном Писании! Что он целые романы сочинял, есть Бог или нет? Иди, падла, в церковь и молись. Это что на свете получится, если каждый будет спрашивать, какой Бог! Вон, погляди, лежит на нарах некий экземпляр иезуитско-масонского братства из Бруклина, паршивая кнорровская овца, святой Иегова, "Башня стражи". Какая стража, сука? Разве не сказано: "О дне и часе моего прихода никто не знает"? Не ждите! Не устережете, падлы!

— Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай, — отозвался член "общины свидетелей Иеговы", лысый, чернявый молдованин, на мгновение отрываясь от маленькой рукописной книжечки.

— А что ты за мимоза, цаца такая? Да ты, падла, знаешь, что меня, может, больше твоего трогать нельзя! Может, ты меня своими "штундами" больше трогаешь, чем я тебя своими словами. Ты знаешь, сука, что я — психопат! Я сам не знаю, что могу сделать в следующую минуту. Вот могу взять "парашу" и вылить тебе на койку! — он вскочил и устался на иеговиста — тот лежал напротив, на нижних нарах.

— Ну, ладно, это ты, Миша, загрубил. Не трогай человека, — но "Шовинист" сделал вид, что не слышал этого замечания Кольки-"Промота".

— Зря нервничаешь, Миша, — добавил я. — Успокойся и давай лучше будем читать.

Но Миша отнюдь не хотел читать Достоевского. Правда, иеговиста он оставил в покое и, потеряв грудь возле сердца, сказал:

— Вот, сука, понервничаешь и начинает ныть сердце, а потом ночью живот болит, пучит. И страх, падло, липкий, как три агитатора, хе-хе, подползает к глотке. Если б тут можно травки пощипать, так я бы себе настой приготовил, и все сразу снимает. А пилюли и прочие медикаменты я в гробу видел. Да и врачи пошли, суки, как следователи, все норовят "мастырку"<sup>4</sup> отыскать, он не болезнь ищет, а преступника в тебе. Раньше одна бабка заменяла консилиум та-

ких врачей. Придешь — она посмотрит, расспросит, одну травку возьмет, другую в горшок кинет, водичкой взбрызнет, что-то зашипит, пар пойдет, пошепчет тебе в ухо ласково, ведьма, травки нюхнешь, водичкой запьешь — и здоров. Вот знал я Федьку-”Бегемота”. Всех врачей обошел — ваша, говорят, болезнь неизлечима. Был ”Бегемот” — стал узник Бухенвальда. Посоветовали к бабке сходить — снова, сука, как носорог стал. Морда, пузо! Двадцать лет ничем не болеет. А эти врачи, гуманисты, ученые артисты — на что они способны? Решили как-то нового человека создать по методу французской революции. Собрались — и не получается у них проблема: не могут человека живой души лишить, не придумают, как в робота превратить — запрячь, чтоб ровно по борозде шел, пахал от подъема до отбоя и ел самую меру, хе-хе, не объедал их, чтоб не жил, но и не умирал, в стойло сам заходил и не брыкался. Спорят. Одни говорят, нам, мол, наши гуманные принципы этого делать не позволяют, другие говорят — этого нельзя принципиально сделать, а третьи большие претензии имеют: чтобы человек враз и по борозде шел, и травку щипал, и за ”ковырялочками” по лужку бегал. Ну, приходит к ним один, тогда еще не всемирно-известный, и говорит: ”Я сделаю. Дайте мне, говорит, денег миллион, хлебный паек, звонок и собаку. Через год принесу ключ к проблеме”. Что же он сделал, сука? Миллион пропил, а хлебным пайком кормил собаку по звонку. Когда пропил миллион — стал жрать собачий паек. А собака все делала по звонку: звонок позвонит — думает, что наелась, наглоталась слюны и желудочного сока. Другой раз позвонит — оправилась. Еще позвонит — спит. Еще — встает. По звонку на задних лапах стоит, лает, на кого надо. Год прошел, он нагрел фраеров еще на миллион — на окончание исследований. В общем гнал дуру года три. Спился, а собака помощнику досталась...

Я зевнул. Время шло к отбою. Вечер был потерян. Может, хоть после отбоя удастся побыть с собой наедине? Только надо взбодриться, чтоб сразу не уснуть.

– Ну что, заварим еще разок? – перебил я ”Шовиниста”.

– Дак заварить с тех пор, как Прометей дал людям огонь, – дело нехитрое. Но ты ж не пьешь в это время: сейчас отбой дадут.

– Ну, можно же раз в год гульнуть. Скуку ты нагнал, надо развеять.

– А... Бывает. Братва, все не хотят спать? – обратился он к играющим.

– Вари. Глотнем, – ответил за всех ”Промот”.

– Бумажки подорви, – это уже обращено ко мне. Я стал вырывать листы из прочитанного ”Нового мира”, складывая их вдвое. Нарвав бумагу, я передал их ”Шовинисту”. Он налил в кружку воды, одел ее ручкой на палку, взял из стопки бумаги три листа в левую руку, поджег их и поднес огонь под дно кружки. Но до команды ”отбой” вода не успела закипеть, и после того, как щелкнул выключатель и камера погрузилась во мрак, игроки стали расползаться с нижних нар по своим местам уже при свете пляшущего огонька горевших листов ”Нового мира”. По дороге они заворачивали на ”парашу” и вели разговор, который вертелся исключительно вокруг игры. Коля-”Промот” был в проигрыше...

Чай мы пили у стола, по-лагерному: пара глотков – кружка идет к следующему, еще пара глотков – к следующему... Чифирнув, я забрался на нары, снял бушлат, потом разделся, юркнул под сырое и прохладное одеяло и сверху, на одеяло, уложил бушлат – для тепла. Трое уголовников – ”Промот”, его дружок Федька-”Полуха” и Мишка-”Шовинист” – остались у стола, закрутили самокрутки и закурили. Но ”Шовинист” и после ”отбоя”, и после ”чифиря” не мог оставить меня в покое, будто догадывался, что сегодня день моего рождения и я отчаянно хотел остаться один.

– Вот сейчас фибры души поют, как струны гавайской гитары, слышишь, Алексей? – к счастью, в ответе он не нуждался. – Как ты думаешь, а что она такое – душа? Смотри, сука, даже атеисты от этого слова не отказались... Чего она больше всего боится? Греха, сволочь. Чего человек не дела-

ет, чтобы замазать грехи и спасти свою подлую душу! Не верит вроде, сука, ни во что, а греха боится. Почему? Потому что обманывает себя, да и других: до того заврется, сука, якобы любит ближнего своего, что и сам начинает верить — мол, для души живет, а не в пузо верит вовсе. Мало того, публичные соревнования устраивают, кто больше людей любит. Соревнуются в самоотречении, подлые лицемеры! Врут: хотят, падлы, чтоб о них говорили вокруг, тщеславие и грех их заедают. Человек им нужен? Как заяц волку он им нужен! "Умри ты сегодня, а я — завтра", — вот что они думают о человеке. Человека любят!!! Любят, пока на них смотрят, "кино крутят". А знаете ли вы, лицемеры, что никто не может сделать блага другому? Есть индийская притча о псаряцаре: он прошел всю иерархию человеческую сверху донизу и лишь возле собак нашел место для настоящего человека. Понял? Вот, сука, когда ты на одной цепи с собакой сидеть будешь, из одной миски с нею хлебать, да и то укусить сможешь — хе-хе, — а вот если не укусишь, то тогда-то ты и не сделаешь никакого греха ближнему. Ты родился, и тебе положено делать зло, и не в твоих силах это изменить! Все, что тебе позволено, — встать на колени, суке, и просить, чтоб оглянулась на тебя высшая сила и дала тебе одну секунду прощения. Есть, существует высшая сила, сука, и только она соглашается сподобить тебя на доброе дело. Но ты и знать в таком случае не будешь, а если узнаешь, что это ты сделал что-то хорошее, то тут же ты и загубил его. Нет, я бы этих "доброхотов" рода человеческого, всех писателей, ученых, артистов-гуманистов, аристократов и демократов, я бы их, сволочей, раздел бы догола и пустил нагишом: идите и *теперь* делайте добро человеку. Проявляйте любовь, если она вам присуща, без одежд лицемерия. Я одобряю прямодушный поступок римского солдата — он поступил, как настоящий человек. Захватили весь город, народ погиб, сражаясь, а Архимед, видите ли, выше народа — самозабвенно погружившись в высшие сферы, чертит на песке чертежи, архимедовы штаны. Сука, что он разыгрывал роль! Он думал, что

удивит солдата, тот снимет шлем и, почтительно поклонившись, скажет: "Ах, извините, великий Архимед, я, кажется, наступил на ваш перпендикуляр..."

Фигура "Шовиниста" фиолетовым пятном сливалась с окружающим мраком. Голос его одиноко звучал в камере с истерической, зловеще-напряженной интонацией.

— Он его убил, заколол, как трусливую падаль... Ученый... Наука потеряла... Что она потеряла? Пусть бы она потеряла всех своих лицемерных создателей. Они творили для блага человека? Они создали сейчас ядерный потенциал, который дает всем — всем! — "вечное благо". И мы еще должны кланяться им, этим Борам, Брамсам и Эйнштейнам или как там его... ну, который раскаялся потом: я не знал, что атомная бомба — это то, что может взорваться... Так зачем же ты ее делал, сука? А раз уже сделал, так скажи прямо: сволочи, у меня в руках эта игрушка, и если пикните — душа из вас вон!

"Шовинист" уже натурально кричал и размахивал руками — я забыл сказать, что он давно уже встал перед Колькой-"Промотом" и Федькой-"Полухой". Кем он себя в тот миг представлял? Может быть, пророком или, на худой конец, пламенным трибуном или просто "соловьем-разбойником", оратором на воровском сходняке. В среде "блатных" существовал такой легендарный тип вора-оратора, такого маленького, слабого, щедедушного человечка, который своим сказочным красноречием заговаривал воровские сходки и заставлял покоренную публику принимать его решение. Увы, к несчастью "Шовиниста", и Колька-"Промот", и Федька-"Полуха" были равнодушны к высшим материям и на уголовников, подобных "Шовинисту", смотрели как на "тюлькогонов", мелющих пустое хитрецов, пускающих пыль фанфаронов. Кроме того, в этот момент приближалась к развязке давняя сложная интрига, и было — мне, во всяком случае, — видно, что проигрыш Кольки-"Промота" сыграл роль своеобразного катализатора в приближении развязки.

Интригу эту долго описывать. Расскажу лишь вкратце: когда Колька впервые пришел в нашу камеру, "Шовинист" заподозрил его в том, что тот подослан специально, чтобы избить его, "Шовиниста". Началась провокация — "ломка". Ну, например, "Шовинист" умышленно заводил разговор о трусливых, подлых, полициях, готовых служить любому, кто сильнее их, тварей, за пайку хлеба, способных лаять и лизать сапоги фюреру или дуче и любому в начальственной шкуре — и вдруг довольно ловко переводил разговор на то, что еще не известно, как повел бы себя в тогдашних условиях другой человек, который пока что мнит себя выше полицейцев, улегшись на своих двухъярусных нарах...

— Как повел бы себя ты, — обратился он внезапно к Кольке, — если бы положили рядом меч и сказали: вот, сука, соврешь — голову долой, а теперь признавайся — ты полицей или нет? Что бы ты ответил?..

И так далее, и тому подобное. Обо всем этом можно писать долго и нудно, я, наверное, так здесь и пишу, но ведь это ты, любимая, попросила описать день рождения — вот я и выполняю твою просьбу.

Словом, Колька давно был готов броситься на "Шовиниста". Монолог этого типа прервал надзиратель, стукнувший ключами в дверь: "Прекратить разговоры, ложитесь спать". Как только "Шовинист" смолк, Колька-"Промот" подал голос:

— Ну что ж, Федя, снимай пифагоровы штаны, или архимедовы? Черт их знает, чьи они, — и иди спать. А то вон Миша снял однажды штаны и перепутал, одел архимедовы — с семнадцатой камеры.

— Хи-хи, — удовлетворенно отозвался "Полуха", — с тех пор в штанах спит, боится перепутать.

— Хи-хи, — отозвался и Колька.

— Ты, пидер, — срывающимся, пересохшим не то от долгой речи, не то от волнения голосом начал Миша, — ты мне уже давно нервы портишь. Я тебя предупреждаю...

Он не успел договорить.

— Я тебе покажу пидера, козел подлый, — Колька завизжал, вскочил на столик и прыгнул на "Шовиниста". "Полуха" метнулся на помощь. Куча ругалась, шумела, истошно визжала... Ну, и финал, как всегда: щелканье выключателя, звон ключей в многочисленных замках, гремящие двери...

Ну вот, исполнил я твою просьбу насчет описания дня рождения. Теперь ты знаешь, как трудно, почти невозможно прожить этот день празднично.

Ты-то просила описать день рождения в нынешний раз, но я воздержался — так как не знаю, можно ли писать о сегодняшней жизни. Цензор может и завернуть письмо. Было же в прошлый раз так, что чуть не завернул, но ограничился предупреждением, чтобы я больше на научные темы не писал. Поэтому, дорогая, я не стал рассуждать о романе Ф. Достоевского "Братья Карамазовы", как намеревался, а пустился в воспоминания... Твое письмо пришло, и мне стало ясно, почему двадцать третьего мне мерещился во сне огуречный рассол, — и меня очень тронуло, что вы отмечали дома мой день рождения, дорогая. Напиши Саше Ф., что благодарен ему за поздравление с днем рождения. О том, как чувствует себя человек в заключении в день рождения и как ценит всякое человеческое внимание и дружеское участие в своей судьбе, Саша прекрасно знает<sup>5</sup>. Слишком трудно у нас выделить этот день из ряда повседневных, и поздравительные письма, пожалуй, самое заметное событие в этот день. Признаюсь всем, кто меня поздравил: я так расчувствовался, что решил: заведу книжечку, запишу туда дни рождения всех, кто меня поздравил, и не пропущу в будущем ни одного... Ты чувствуешь, дорогая, тут есть немного скрытой обиды на тех, кто меня не поздравил...

Что пишут друзья из Земли Обетованной? Недавно получил письмецо от Рут Офер<sup>6</sup> со стереооткрыткой. Передай привет Еве Бутман<sup>7</sup>, она прислала мне стереооткрытку... Написала ли ты тетушке Ширли<sup>8</sup>? Похоже, что я никогда не получу от нее весточки. А это очень странно. Ведь переписка с лицами из-за рубежа, даже не с родственниками, не запре-



щена в нашей стране. У меня есть на этот счет вырезка из "Москоу ньюс" — ответ редакции на вопрос зарубежного корреспондента о свободе переписки в Советском Союзе. Надо найти и выслать тебе. А ты вложишь в письмо к Ширли и отошлешь — может быть, так оно дойдет до адресата.

...Вот, пожалуй, и все.

До свиданья, нежно целую и обнимаю

Ваш...

28 ноября 1976 г.

## Глава третья

Созерцание человека происходило во все годы совместного проживания с людьми сначала в казарме суворовского училища, потом в студенческом общежитии, в бараках и камерах — но это было бессознательное созерцание — познание, так сказать, стихийное. Сознательное же мое познание — созерцание было направлено тогда на высокие материи — на философию диалектического материализма, законы общественного развития, строительство светлого здания будущего, научную критику буржуазных лженаук и т. п. — а сам человек как-то скользил рядом, мелькал тенью. Правда, сия тень часто портила нервы, досаждала и даже больно лупила, в том числе по голове (сам я тоже лупил, но я-то привык вести бой с тенью в боксерском зале), но все равно: тень оставалась для меня тенью. Реальным, плотским в моем восприятии был труд и общественные идеалы, а потом стены тюрьмы.

Допускаю, что и сейчас, много лет спустя, у меня все равно не возникло бы желание материализовать сию тень в существо с плотью и кровью, если бы не потребность некоторых наук, возглавляющих прогресс: космологии, океанологии, спелеологии и некоторых других (для антропологии и антропософии делаю исключение). Этим самым прогрессивным наукам вдруг понадобилось знание о конкретном человеке. Дело в том, что в космических кораблях, батискафах, малых геологических партиях, спелеологических лабораториях (попросту — в пещерах) начали срыватьсь важные научные эксперименты, потому что обитатели сих объектов начинали размахивать под носом друг у друга кулака-

ми. Не обязательно в буквальном смысле этого слова, но всегда в переносном: создавалась напряженная обстановка неприязни и даже вражды, отвлекающая от заданий и срывающая выполнение научных программ. Используя старую, но все еще звучную терминологию, можно было сказать: "В период научного прогресса кадры из барокамеры решают все!" Ну, я человек маленький, к высокой науке непричастен, как ты знаешь, но и надо мной летают космические корабли, рядом бродят геологические партии и, возможно, подо мной поют романтические песни про сталактиты спелеологи. Мой общественный темперамент откликнулся на призыв науки, тем более, что зрительная ассоциация батискафа с камерой и лингвистический омоним — барокамера, она же барак-камера, создавали личный импульс к внесению скромного посильного вклада в эти науки. Короче, я пришел к выводу, что изучение конкретного человека в камере — не пустое времяпрепровождение, но капля в чашу современного научного прогресса.

Теперь, после объяснительной записки, — по порядку, или, как говорили древние, "аб ово" (т. е. "с яйца" — они завтракать-то всегда начинали с яйца). У нас это означает — с сигнала "подъем". Первым вскакивает мой сосед по койке. Мелькая грязными кальсонами перед глазами, он заправляет постель. Задерживаться с подъемом нельзя, так как это уже нарушение, а за нарушение наказывают; кроме того, совокупного времени на подъем и туалет оставляют совсем мало и, если тянешься, тоже наказывают. Поэтому приходится нагибаться за ботинками, с отвращением отворачивая нос и губы от кальсон соседа, которые угрожающе близко от них колышутся. Поэтому же встаешь, не дожидаясь, пока сокамерники выскочат из камеры в уборную, и, поворачиваясь и нагибаясь, чтобы самому наконец заправить койку, ты случайно, но неизбежно должен толкнуть его задом, и он, что-то промышав, валится на постель. Проходы настолько узки, что это стало обычаем, все привыкли к столкновениям, и никто больше не негодует, и сосед, как ни в чем не

бывало, продолжает суетливо заправлять койку. Бывает, впрочем, и так, что сокамерник, едва выскочив из-под одеяла, бросается открывать форточку, ибо смрад стоит такой, будто переночевал тут эскадрон, о котором говаривал еще Ноздрев. Открыв форточку, он рысью стремится в уборную. Вы же, проводив его мрачным сонным взглядом, встаете, ежась от холода, — дело происходит зимой — и раздраженно захлопываете ее. Одевшись, открываете снова. Постояв в очереди в уборную, затем в умывальник, вы приходите в камеру в обычном подавленном настроении. Здесь уже два сокамерника машут друг у друга под носами верхними конечностями, остальные лежат на койках и делают "велосипед" — все заняты физзарядкой, здоровье всем дорого, но стоять и махать руками — счастливый удел лишь двух агрессивных счастливцев. Пытаешься захватить свободное пространство камеры и маршировать на месте, высоко поднимая колени и уклоняясь от рук счастливцев-наглецов, которые вертят ими, как мельницы крыльями. Если один из агрессоров не выдерживает и валится на койку, то можно закончить зарядку с хорошим настроением. Но если нас осталось трое, то лучше с раздражением ложись на койку сам и, крутанув пару раз "велосипед", бери книжку и жди, когда наконец подойдет к дверям камеры "телега" с кашей.

Когда же дежурный по камере моет пол, а это случается обычно раз в три дня (иногда чаще, иногда реже — как договорятся в камере), то вот тебе типичный ход мыслей угрюмых сокамерников, лежащих на койках и рассматривающих корячащегося с тряпкой товарища: "Как трешь, чуело! Что ты номер отбиваешь, проходимец? Кому ты втираешь очки, лиса? Ты в уголках три, под коечками-то, пройди хорошенько! У тебя срака под койку не пролазит, а мне завтра за тебя колени сдирать, фуфльжная твоя порода!"

Часто кому-нибудь из сокамерников не терпится заварить с утра чайку. Он, осторожно косясь на делающих физзарядку, наливает воды в чифир-бак, рвет бумагу и уходит

в угол, за парашу — варить чай: я тебе уже описывал, как это делают в камере. Из-за параша поднимается едкий дым, кто-то из активистов-физкультурников метнулся открывать форточку. Если холодно, ее опять же мгновенно закрывают. Все продолжают делать физзарядку. Хорошо, если все берут в руки книги. Но, как правило, ночью кому-то снится хороший, или странный, или явно к свободе сон. Этим он не может не порадовать сокамерников. Все здесь мастера толковать сны. Если вы хотели сосредоточенно почитать до завтрака или записать пару вымученных мыслей, то это не удастся. Глядя в книгу или сжимая ручку, вы истратите всю свою интеллектуальную энергию на решение вопроса: оборвать болтуна или учиться читать и думать, невзирая ни на что? Так, сжав зубы и наливаясь гневной решительностью, оцепенело пролежишь до завтрака. За завтраком, глотая кашу, придется готовить остроту, которой завтра заткнешь рот всякому болтуну в самом начале, как только он откроет рот. Следующим утром вы будете ловить подходящий момент для заготовленной остроумной речи, но лишь во время следующего завтрака определите этот упущенный момент. Мучаешься несколько дней, пока в какое-то утро сам не расскажешь свой чудный сон, и тогда чувство вины заставит смириться с болтовней до завтрака — и на долгое время.

Хлеб наш насущный — то есть завтрак, обед и ужин занимают объективно незначительное время, но в нашей "субъективной" жизни это время, как говорится, очень и очень... Но — знаешь что? Вот я пишу о быте, однако вижу, что мне легче будет говорить о нем и я емче охвачу его, если сразу же — хоть приблизительно — охарактеризую людей этого быта, так сказать, участников его игрищ и праздников.

\* \* \*

Поскольку персонально невозможно описать каждого из тех, кто участвует в здешних мелодрамах, я прибегну к научному способу описания: классификации, типизации,

оперированию общими местами. Этот способ позволяет ученым объять необъятное.

Я, конечно, извиняюсь перед настоящими учеными за покушение на их прерогативы и заодно на их хлеб насущный. Но так как я предлагаю не научную классификацию-типизацию, то надеюсь, что ученым она тоже пригодится — хотя бы как первичное сырье.

Честно оговарюсь, классификации как таковой не будет, а ждет тебя "абстрагирование с целью увиливания" от серьезного изучения данного предмета (то есть моих сокамерников).

Итак, тип первый — художественно-эстетический (с него мне легче всего начать).

Натуры этого типа жаждут в камере острых ощущений и принимают жизнь, как игру. Но, однажды начав играть, забывают, что ведь они играют, а не живут, — и уже вполне всерьез воспринимают свою игровую ситуацию.

Например, желая попасть в БУР, они добиваются этого, а, уже находясь в БУРе, шепчут, глядя на колючую сетку, покрывающую прогулочный дворик сверху, вместо крыши: "Этого забыть нельзя. Освобожусь — сделаю из колючей проволоки кольцо и буду носить его как сувенир — на лацкане пиджака".

Увлечись какой-нибудь фантастической идеей, — например, человек должен одержать победу над своей плотью, ее нужно мучить, — они обрекают себя на испытание этой теорией, причем вполне натурально мучаются от голода, холода, наручников и т. д. Если они хорошо воспитаны и хорошо образованы, то, после отправки на перевоспитание в крытую тюрьму, люди художественно-эстетического типа дошивают бушлат до пяток, набивают его изнутри ватой, чтобы спастись от холода на этапе и, мурлыча себе под нос что-то вроде финала "Героической симфонии" Бетховена или "Демона" Лермонтова, утешают себя следующим образом: "Мне ничего в жизни не страшно, пока эта героическая и одухотворенная мелодия (вариант — эти мужественные сти-

хи) со мной... Тра-ля-ля... Я царь, Я Бог и одинок” и прочее.

Теперь перейдем ко второму типу, наблюдаемому мной в здешней барокамере, — к тому, который следует определить как Интеллектуальный.

Люди этого типа — наиболее уравновешенные и жизнерадостные заключенные. Их легко определить по главному внешнему признаку — наморщенному лбу. Что бы им ни приходилось делать — сидеть или ходить, читать или разговаривать с гражданином начальником — они МЫСЛЯТ. Они мыслят непрерывно, а остальные смотрят на них и столь же непрерывно удивляются: о чем можно размышлять в тех случаях, когда и дураку с первого взгляда все ясно.

Периодически к тому или иному интеллектуалу подходит иной тип зэка и, почтительно вглядываясь в шевелящиеся на лбу складки мыслителя, спрашивает с надеждой:

— Ну что там? Как будет?

— Еще неясно, — отвечает интеллектуал. — Но вы как антропологический элемент инфраструктуры в системе Вселенной (вариант: как вербально-экзистенциальный денотат в системе идеалистически-материалистического отсчета синкретического Абсолюта — не спрашивай меня, пожалуйста, что это такое!) рассмотрены индуктивным и дедуктивным методами. Правда, сложно учесть аспект интегральный (вариант: космический; вариант: социальный; вариант: инфернальный...).

— Гм... Видно, не скоро прояснится судьба наша, — бормочет зэк и вежливо и робко, подавленный ученостью сокамерника, уходит едва ли не на цыпочках.

Интеллектуалы в камерах решают всеобщую проблему всех интеллектуалов всех стран, континентов и времен — проблему предсказания судьбы человека и человечества. Наши интеллектуалы считают, что судьба — это символ неведомых сил, которые он, интеллектуал, может материализовать по эту сторону мира. Достаточно лишь ему все продумать, изучить и учесть во всех аспектах, связях и, главное, в полном объеме. Дело это трудное, и интеллектуал объяс-

няет, что до сих пор им занимались оракулы, гадалки, шаманы, шарлатаны и иные теоретики. Но наш камерный интеллеktуал не пользуется идеями схоластов или предсказателей "города солнца": он человек современный. В его уверенности, что, подходя к делу научно, можно рассчитать судьбу, мне чудится детский задор. И только с течением лет я наблюдаю первые сомнения, но их сосредоточенно таят, и внешне наши интеллеktуалы выглядят еще непреклоннее, еще упрямее хмурятся складками их лбы.

Поскольку иногда раздаются саркастические замечания по поводу обреченности и бесплодности их усилий, постольку они предпринимают превентивные пропагандистски-оправдательные акции в защиту собственного престижа. Например, мне приходилось слышать, что, мол, их интеллеkt может продуктивно работать лишь при достаточном количестве глюкозы и аминокислот, содержащихся исключительно в животных белках. Тут уж малoverы, скептики и циники смущенно чешут в затылках и вынуждены признать: "Да, глюкозы и мяса ого сколько надо! Столько аж во сне давненько не снилось"...

Интеллеktуалы, правда, довольно много выдали продукции "на-гора": зная, сколько лет им дал суд и сколько они сидят, сумели научно предсказать, сколько им осталось сидеть. В отличие от "художественных натур", о которых я уже писал, и от "вождей", о которых напишу в "следующих строках своего письма", интеллеktуалы не сомневаются, в какой день недели они выйдут на свободу — в понедельник, вторник или любой другой из семи: тщательно просчитаны календарные дни до освобождения.

— Свобода, — признаются они, — волнует нас лишь как семантический знак, который дает красивую форму описания бесконечной неопределенности в математической логике. Свобода же как чувственное представление или переживание есть удел художественных личностей, ну, и еще, пожалуй, — это они признают, — объект манипуляций "вождей" (о тех идет речь впереди) с низкой толпой; уже подщи-



тано умными людьми, что все различия между жизнью человека в изоляции и на свободе несущественны для обычного человека.

Ну, а как им самим — неужели свобода не предпочтительнее неволи? Пожалуй, себя они тоже согласны включить в число обычных людей, но, как упоминалось, для нормального функционирования их интеллекта в лагере не хватает глюкозы и животных белков, только поэтому они все же предпочитают волю.

Теперь, зная их представление о воле и неволе, ты воспримешь естественно тот факт, что все жизненные функции они выполняют механически: едят, работают, спят, вступают в отношения с администрацией — все это без вкуса (вопрос о том, со вкусом ли они мыслят — для меня не решен). В этом, кстати, их главное отличие от художественных натур, которые в силу subtilности нервной организации едят с капризами, как малые дети, спят, как немощные старцы, и чувствительны к обидам, а также наставлениям администрации, как красивые женщины.

В защиту художественных натур скажу, однако, что зато в упорстве и настырности, когда надо увильнуть от "исправительного" труда, они нисколько не уступают, а часто даже более закалены, чем "интеллектуалы" и даже еще не описанные мною "вожди". Тут часто самый волевой "вождь" с удивлением разглядывает, какую гигантскую мощь таит в себе внешне слабосильная художественная натура! Правда, результаты у всех примерно одинаковые, и успех в увильнении от каторжной работы завершается, как правило, БУРом или другим наказанием.

Ну и, наконец, настала очередь выполнить обещание и описать "вождя". Что это за тип? Что за личность?

Прежде всего, вождь всегда знает, что он — вождь!

Откуда? — спросишь ты. Откуда все мы знаем, что нас не нашли папа и мама в капусте и что аист тоже не при чем? Оттуда же... Вождь знает — и все тут. Знает непоколебимо. И потому все свое внимание направляет на поиск массы, то

есть той глины, из которой лепятся монументы для всех вождей.

Ты, наверное, не знаешь, что монумент — такой же атрибут вождей, как шпоры у петуха или сопли у индюка — атрибут неотъемлемый. Поэтому созидание монумента становится "идеей фикс" у вождя, думается, еще с пеленок.

Если масса сопротивляется своему предназначению стать монументом — он ее лепит, месит, организует. В конце концов, он только помогает ей выполнить возложенную на нее провидением миссию.

Бывает, что масса не понимает этой предуготованной свыше роли и не узнает своего вождя. Тогда вождь помогает ей тем, что демонстрирует свои черты избранника, помазанника и данного свыше лидера. Как это ему удастся сделать?

О, тут целый ассортимент средств. Прежде всего, надо носить на лице печать вождя. Где достать такую печать — это, слава Богу, вождь знает. Потом наводятся на лицо и вообще весь облик постоянные черты вождя: по моим наблюдениям, это волевой подбородок, монументальная посадка головы, взгляд дракона, походка льва, важность слона и педантизм... Ну, педантизм, собственно, вождиный. (Помню, я как-то рассуждал о химерах на крыше Собора Парижской Богоматери — кем именно они приходятся вождям — родителями или, наоборот, отпрысками.) От собственного педантизма вожди, увы, страдают, как все простые смертные, но зато неутомимо укрепляется, практикуется и демонстрируется образ повелителя.

Например: если надзиратель открывает утром дверь на "оправку" и подгоняет: "Скорей! Скорей!" — то вождь не схватит поспешно "парашу" и не побежит сломя голову в туалет. Он размеренно зашнурует ботинки до последней дырочки, застегнется до последней пуговки, важно и неторопливо понесет "парашу", как бы не замечая зеленого от злости и нетерпения надзирателя!

Вождь всегда дорожит своим "я" и, чтобы его не затер-

ли, чтоб, тьфу, тьфу, само не затерялось, а наоборот, выделялось среди других "я" — он его постоянно, хотя и незримо подчеркивает. Это для него приятная, хотя в то же время утомительная и хлопотливая работа. Поэтому заветная мечта всякого вождя как-нибудь перейти на "мы" — то самое, которым по традиции пользовались императоры и первосвященники.

Справедливость требует признать: постоянное подчеркивание, выделение своего "я", концентрация на нем внимания, кроме естественного удовольствия, доставляет вождю и огорчения. Они вызваны, во-первых, сопротивлением стиранию индивидуальностей в безликую глинообразную массу со стороны рядовых "я", не познавших сладости превратиться в частицу монумента; во-вторых, наличием других "я" — самоподчеркнутых и выделяющихся в окружении "вождя". Впрочем, и строптивость безликих "я", и нахальство претендентов на место вождя — подавляются.

Вожди обречены на борьбу между собой, как первые красавицы на конкуренцию за звание "Мисс мира". Между вождями, как протоплазма между ядрами, стоит масса. Почему она сразу не узнает своего единого кумира, а слепо тыкается то к одному, то к другому вождю, создавая давку, толкотню и междоусобицу?

Может быть, потому, что существуют разные типы вождей? Я видел "харизматического", "авторитарного", "сильную личность", "железную руку", просто "вожака" или "ководя" ... Каждый вождь, зазывая толпу, провозглашает, что он — самый-самый, единственно подлинный, соответствующий мировым стандартам. Увы, к его несчастью, таких стандартов не существует — в этом и состоит проблема вождей.

Помню, я видел (не в натуре, конечно) конкурс на звание "Мисс мира". Понравилось, как в финале прелестные девушки, выстроившись в затылок друг другу, по очереди входили в стандарт — фигуру, вырезанную в картонной перегородке, — пока, наконец, та единственная, которая долж-

на была победить, не влипла в стандарт, будто он с нее был вырезан. Не следует ли придумать и вырезать такой стандарт вождей и прогонять претендентов сквозь него?

Но пока стандарта нет — и между вождями происходят "толковища"<sup>1</sup> и мордобои. И тут — хочешь или не хочешь — а приходится фиксировать неизбежное превращение вождей в уголовный типаж личности. И дальнейшее изучение вождя — это изучение типа вождя и уголовника в одном лице. Говорить об этом дальше я не хочу, но про это единство "тому в истории мы тьму примеров слышим..."

Однажды я наблюдал одного "вождя" в камере и думал: если ум твой не помогает тебе понять ситуацию, характеры людей, сложившиеся отношения и нормы поведения — то грош цена твоему интеллекту; для окружающих ты — дурак, и они правы, разума у тебя нет!

Но хватит... Кажется, эти размышления увели меня слишком далеко...

Хочу сделать вслед лишь одно замечание. Вчера на многоточии был вынужден сделать перерыв в письме — надзиратель прокричал "отбой" и потушил свет в камере. А сегодня утром, на работе, случайно разговорился с Ш.<sup>2</sup> и услышал от него, что один из наших "вождей" исповедует нищезанство. Вот как характеризует это учение Ш. (он распечатал седьмой десяток, из них более тридцати провел в тюрьмах и лагерях, в том числе в Польше при Пилсудском и в Германии при Гитлере): "Я прочитал три раза "Волю к власти", и читал очень внимательно, так как участвовал в политической жизни активно с двадцати лет и, естественно, хотел понять, что такое власть. Я вам скажу, А., что после третьего раза почувствовал неодолимое отвращение к Ницше. Я увидел за словами этого человека что-то до бесконечности гнусное, мерзкое, грязное. У меня самого был не такой уж богатый опыт власти, однако я сразу, интуитивно угадал, что если человеку, получившему власть, не держаться за традиционные мерки добра и зла, не измерять ими свои поступки, то мир превратится в кошмар. Где этот кабинетный безу-

мец (имелся в виду Ницше) видел человека, разрушившего в себе все запреты, ставшего по ту сторону добра и зла, обладавшего властью над людьми и — оставшегося воплощением справедливости? По-моему, только идиот мог так заблуждаться по поводу людей, борющихся за власть и сознательно отбросивших все моральные нормы и запреты человечества”...

Ладно, на этом оставлю ”вождя” — признаюсь честно, писать можно много, но я предпочитаю другой тип личности.

Как его определить?

Очень сложно, хотя сам он прост и ясен, как речной поток воды. Это — личность, которая, придя с работы в камеру, спит и не храпит. Я до сих пор с благоговением вспоминаю этого великого, благородного, самого гуманного человека в мире, которого я встретил здесь, сидел с ним в камере и который — увы! — уже освободился. У меня не хватило бы совести говорить ”увы” по такому прекрасному поводу, хотя мне его остро не хватает, но дело в том, что бедняга уже снова попался где-то в районе румынской границы — и теперь я боюсь, что ему дадут ”крытую тюрьму” по приговору суда и к нам на особый он придет не скоро<sup>3</sup>.

А как было бы хорошо получить такого сокамерника! Наверное, самое точное назвать такой тип личности — *альтруист*. Да-да... Это тебе не кто-то из ”цицеронов”, на коих я обменял бы его не глядя. Ведь чем, как не безграничной, самоотверженной любовью ко всем ближним являлся объективно этот его сон с утра до вечера — кроме рабочего времени! И известно ли вам, на воле, что единственная личность, которую я, напротив, не терплю, — есть личность зверски храпящая! Сатанински храпящая!

Я помню мое нравственное падение: к сему храпуну я испытал приступ неконтролируемой ненависти. Впрочем, известно в народе: где потерял, там приобрел. Благодаря этому храпу я могу назвать себя человеком гуманным, так как храп все еще продолжается, а я храпящего уже не ненавижу. Я победил в себе человека-зверя. Правда, храп

не звучит для меня музыкой, но я надеюсь достигнуть и этого, если прежде не прикончу во внезапном приступе рецидива ненависти своего воспитателя по части непротивления злу насилием.

Ты удивляешься, что я столько времени в письме к тебе уделяю место храпу? Для этого надо почувствовать разницу между человеком из книжки, с фотографии, даже между человеком, которого узнал в деле, — и тем же человеком в роли коллеги по "батискафу" — неважно, является ли таким батискафом, барокамерой и т. д. общежитие, коммунальная квартира или — худший вариант — наша камера. Представь ночью комнату с шестью бодрствующими и одним спящим. Шестеро поначалу — застенчивые альтруисты, проснувшиеся от храпа и не решающиеся грубо будить человека, в сущности, не виновного ни в чем — просто так устроена его носоглотка или что там еще храпит по природе? Но храп продолжается...

Из угла раздается: "Эй, храпишь!". Этот голос воодушевил соседа "храпуна", и тот робко дергает подушку своего "палача". Храпун замычал, зачмокал и продолжал храпеть. Через несколько минут "альтруист", лежавший с другой стороны, не выдерживает, высовывает ногу из-под одеяла, тянет ее через проход и толкает храпуна. Тот вскрикивает, запекает какую-то песню, постепенно переходящую в мычание, и умолкает. Но заснуть мы не успеваем. Храпун снова приступает к храпу, и снова шесть мучеников смотрят бессонными глазами в потолок и только иногда робко беспокоят мучителя. У кого крепкий сон, тот в конце концов выпится. Но у нас обычно нервная система напоминает старенькую скрипку провинциального музыканта, и такие люди встают утром, на работу, разбитые и — с жаждой мести.

Все знают, что жажда мести — чувство неблагородное, в особенности по отношению к человеку, субъективно вовсе невинному, поэтому месть тщательно запирают в подсознание. Однако она прорывается сквозь препоны сознания,

и агрессивность просачивается окольными путями — в ехидных острогах против сокамерников, в угрюмом молчании, в стремлении захватить и удержать место посреди камеры, в громком разговоре, мешающем другим читать, — вообще в том, чтобы раздражать других людей. "Раз у меня после бессонной ночи муторно на душе и чугунная голова, то пусть и у вас будет то же самое", — таким вот странным образом иногда материализуется в человеке жажда равенства и справедливости.

Как это реально происходит?

Каждый умеет читать — и существует потребность в тишине. Каждый умеет писать — и он хочет иногда сосредоточиться, схватить за хвост скользкие мысли. Но когда один решил предаться подвигу самопознания, его сосед именно в это время желает побриться. Что плохого в этом желании? А то, что сначала надо потарабанить в дверь и покричать надзирателю, чтобы его выпустили из камеры для совершения сей процедуры (розеток в камере нет). Но тут выясняется, что розетку занял кто-то из соседней камеры. Ожидание — потом новое тарабанье в дверь — новый крик... Наконец с бритьем покончено. Можно сосредоточиться.

Но тут — ух! — поклонник Маммоны встает с койки и снимает возле печки последние два сухаря, на которые давно посматривал, звучно сглатывая слюни. Начинается громкое чавканье, хрустение и треск, которые раздражают — прежде всего потому, что прошло около часа, а ни одной мысли в голове не появилось. Разве что такая: "Что ты хрустишь, животное! Все равно ведь — не в коня корм".

Правда, этому злому "демону" в моей душе возражает "ангел-гуманист": "Ну, человек голодный, кушать хочет". — "А я что, не голодный?" — "Так у тебя же сухарей нет". — "В гробу я видел эти сухари". — "Да ну?" — Чавкать у людей над душой нельзя — уважать их надо". — "Знаем мы это уважение: просто ты умял пайку сразу, а он насушил сухариков"...

Но вот хруст прекратился. Блаженная тишина. Мысли зашевелились. И в эту секунду раздается какой-нибудь каламбур-галиматья местного Цицерона.

Здесьние цицероны, они же демосфены, цепляются за любой предлог поупражняться в ораторском искусстве. Открыв рты, они уже не могут самостоятельно их закрыть. Восстановить тишину можно только активным вмешательством. Делаем это по-разному: иногда обидной репликой, иногда остротой с намеками, иногда просьбой, иногда демонстративной позой. Человек громко и с явно выраженной досадой захлопывает книгу (вариант: швыряет ручку) и произносит громовой монолог, что любой мещанин уважает другого: не гудит на улицах автомобильными гудками, не шумит под окнами чужих домов, не включает радиолы на полную громкость, а вот представители прогрессивного человечества убивают друг друга демосфеновыми децибелами. Где альтруизм и гуманизм, "печать которого лежала на ваших делах на воле?"

Все молча берут книги в руки, но оратор уже не может остановиться. Водопадом сыплются на давно молчащих сокамерников примеры альтруизма: то юноша, бросившийся с конем в какую-то расселину, угрожающую поглотить сограждан; то самурай, совершающий харакири на глазах у сюзерена; то павианы, бросающиеся на леопардов из засады, чтобы спасти стаю собратьев... "Как мы выглядим на этом фоне?"

— Да, я ваш брат и требую от вас тишины, когда у меня ворочаются мысли в голове. Может быть, вы сейчас нанесли непоправимый ущерб людям, лишив их тех мыслей, которые уже созрели и готовились выйти...

Как правило, монолог-призыв такого рода действует безотказно, устанавливается тишина, в которой слышно, как аплодируют мыши. Но пока воитель за тишину приходит в себя от нервного возбуждения, время дня уходит, и раздается команда: "Отбой".

Лежа в постели, он утешает себя: "Ничего, с завтрашне-



го дня заведем строгие камерные порядки"... О таких порядках разговор заходит часто, но, увы, это порождает лишь новые беспорядки.

Психика почти каждого здесь деформируется: время, монотонность, механистичность жизни, стѣны, изолированность, обреченность, постоянство и исключительность "контингента" — все это медленно, но неумолимо делает черное дело разрушения личности. Как известно, личность врача-психиатра от постоянного общения с пациентами деформируется. Но ведь и пациенты, видимо, тоже деформируют друг друга — сначала психически, а потом, бывает, и физически. К несчастью, этот опыт специализированных заведений оказывается особо тяжелым, когда он происходит не в обычном "бедламе", а у нас, в местной барокамере. Попробую немного "пофилософствовать" на эту щекотливую тему.

\* \* \*

Представь себе обыкновенную ночь. Где-то лают собаки, чмыхают паровозы и мирно посапывают люди. Личность, назовем ее Н., храпит. Внезапно она испуганно стонет, бормочет и, издав страшный вопль, просыпается. Поднимает с подушки влажный лоб и дико, я бы даже сказал, затравленно, озирается по сторонам. Что же она видит?

Сосед, назовем его Х., не спит. Он кашляет, и в чаще бороды бессонно и укоризненно блестят его глаза.

— Вы перестанете меня гипнотизировать? У меня сердцебиение! Я требую! — Это Н., вскочив, уже наклонился к Х.

— Идите вы пид три чорты! — парирует тот.

— Ах, так! Я вынужден прибегнуть к крайним мерам!

Н. мчится в угол камеры и хватает совок для мусора. Х. испуганно вскакивает и растерянно топчется в проходе возле своей койки. Н., вооруженный совком, грозно расхаживает по другую сторону камеры — возле двери (между столом и "парашей") и воинственными кличами вызывает Х. на бой.

Х. вызов не принимает. Тогда Н. двигается в проход. Х., перескакивая через койки, торопливо трусит в угол за шваброй. Швабра длинней совка, и Н., оценив преимущество противника, предлагает разоружение. Когда принципиальное согласие достигнуто, оба долго препираются по поводу процедуры разоружения — совсем, как "большие"... Наконец, решено одновременно бросить в угол совок и швабру. Бросают. Но Н. тут же кидается сам вслед полетевшему в угол совку. И в большом мире дипломатия не раз использовалась лишь как тактический маневр при подготовке войны. Поняв этот секрет дипломатического искусства, Х. бросается в тот же угол. Шум, треск, грохот — после чего возня прекращается и слышится сопение.

Слышим шепот: "Пусти палец!". Не выпуская палец врага из зубов, Х. прожевывает: "А тхи пфусти бородху!".

На следующий день истерзанные и искусанные Н. и Х. с оправдательными доказательствами — оторванным клочком бороды и кусочком пальца в тряпочке — предстали на работе перед толпой эзков, которые принялись судить и рядить супротивников. Проанализировав версию Н. о гипнотическом воздействии на него со стороны Х., высокий суд признал ее недостоверной: в проведенных экспериментальных исследованиях выделения магических токов из тела, пальцев или глаз Х. испытателями зафиксировано не было.

С другой стороны, продебатировав жизнь Н. от грудного возраста до покушения на честь бороды Х., мы пришли к выводу, что, к несчастью, он, видимо, страдает манией преследования...

\* \* \*

Здесь время порассуждать о том, что чувствуют люди, когда они обнаруживают себя запертыми в барокамеру с заболевшим человеком.

Сама понимаешь, я не профессиональный психиатр или хотя бы психолог, и рассуждения мои будут дилетантскими.

Единственное их достоинство — я постараюсь выразаться кратко и без претензий. Чтобы внушить к своим мыслям хоть какое-то уважение, использую — для параллели — ”Крота” Фр.Кафки.

Крот Кафки был неким ”знаком”, которым можно обозначить многое — вплоть до человека. Но суть новеллы в том, что он заболел манией преследования. Жил себе, не тужил, имел собственный дом и все блага, пользовался уважением — и вдруг в один прекрасный день обнаружил, что за ним следят... ну, я не знаю точно, кто именно — ФБР, ЦРУ, соседи, ”гороховые пальто”.

Крот принялся создавать систему безопасности и, как часто бывает в подобных случаях, тронулся, двинулся, поехал, оно же чокнулся, или, говоря по-обыкновенному, заболел маниакально-депрессивным психозом в форме мании преследования.

Теперь сравним ситуацию кафкианского Крота и нашего так называемого Н. Сравним в чисто бытовом плане — на большее я, естественно, претендовать не могу.

Во-первых, Крот жил в собственном доме, где, говорят, и стены помогают, а Н. в казенном, где, могу тебе точно сказать, они давят на психику. Во-вторых, Крот жил один, а Н. постоянно находился среди людей отчаянных и, что уж тут-то скрывать, — с преступным прошлым (тайны, конспирации, секреты, наконец, замыслы, вплоть до недозволенных мыслей, — сама знаешь). В-третьих, Крот не участвовал в войне, а ведь именно она привела нашего Н. в казенный дом.

Поэтому на фоне безмятежного, без войн и вербовок, бытия Крота потрясение, сдвинувшее Н., выглядит почти как укор совести персонажу Кафки: ”Пусть я не выдержал, заболел, но ты-то, у тебя ведь не было оснований”. Кроту и присниться не могло то, что предварительно пережил Н. И это потрясение взрыхлило психическую почву, на которой проросло семя недоверия к человеку и миру. Не доверяя себе — ведь трудно доверять другим.

И еще одно, второстепенное обстоятельство. Прогресс — вернее, то, что читал о прогрессе науки Н. в научно-популярном жанре: психические излучения, облучения, гипноз, магические силы и проч. Таинственные запасы сил человеческой психики, едва известные специалистам, становились для него аксиомой, примером из таблицы умножения. Чудеса Мессинга, Геллера и других приравнялись к дважды два четыре. Если Мессинг мог управлять людьми, а Геллер гнул серебряные ложки и дверные ключи взглядом — почему, спрашивается, А., Б., С., наконец, вышеупомянутый Х. не могут сделать нечто подобное с несчастным Н.? А дальше логический вывод: Крот у Франца Кафки был один и все-таки заболел, а Н. окружен людьми, т. е. как раз источниками вредных лучей, способных ломать ложки, как спички. Да, Н. заболел, как Крот, но насколько ему было тяжелее в жизни, чем герою новеллы Кафки!

...Когда-то на заре нашей батискафно-барокамерной эпохи поэт написал вдохновенно: "Плохо человеку, когда он один..." Впрочем, еще раньше знаменитейший писатель изобразил, что случается с человеком, если он пятнадцать лет просидит в одиночке в Бастилии. Плохо бывает такому человеку, — уверенно заключал он, — заключенный забывает все: папу, маму, детей своих плюс собственное имя. Может быть, поэтому современный гуманный пенитенциарный подход исключил из официально признанных мер наказания одиночное заключение.

Но теперь современная батискафно-барокамерная наука обнаружила, что когда человек не один, а находится вместе с другим человеком, ему тоже приходится плохо. Ибо возникает так называемая "проблема психологической несовместимости".

Мне кажется, что до нашей эпохи проблему бытия человека все — законодатели, философы и даже поэты — решали как проблему "человек-в-мире", т. е. человек исключительно вкупе с другими людьми. Прямодушный Маркс, завершивший предшествовавшую ему науку, твердо обя-

вил, что человек есть только и исключительно совокупность общественных отношений. А какие отношения, когда он живет один? Никаких, и, следовательно, человека нет, а так, фантазия, эфир, фантом — человек одинокий. Может, я фантазирую, но подспудно, мне кажется, отсюда пошло строительство огромных общежитий и коммунальных квартир. Человек должен был набрать побольше отношений с другими людьми и стать человеком в полном смысле этого слова.

Но нынешняя батискафно-барокамерная наука увидела человека в бытовом плане, не витающим в философских эмпиреях, а прикованным к галере быта, в одной барокамере с другими людьми. И были зафиксированы фантазмагорические явления в этой типической для нашей эпохи ситуации. Я сам видел миску, которую носят на голове под шапкой — спасают ее от администрации нашего учреждения; видел, как нашивают сзади под брюки фанерку — это, мол, защита от... гм, гм... как бы выразиться, чтобы ты поняла и одновременно не оскорбилась... от физически нежелательных отношений; видел и то, как спальное место обкладывают и обвешивают плотными пачками старых газет. А это зачем? Затем, что в типографской краске содержится свинец, который отражает вредные излучения соседей. Проложите между собой и миром штук сто газет, и вы — обладатель свинцовой прокладки, надежнейшей защиты от излучений даже на случай атомной войны.

...Дорогая, я устал писать об этом — о нашем быте. Сегодня 31-е и надо сдавать письмо. Тем более, я страшно заболел. Сделали нам пробу на прививку от туберкулеза, так называемую "реакцию Манту", и меня буквально свалило. Озноб, температура, сердце ослабло и колотится с частотой автоматной очереди. Ночью — мокрый от пота, днем — озноб, ломота, головные боли. Руку разнесло до размеров ноги слона. Хорошо, что догадался подставить левую, а подставил бы, дурак, правую — не смог бы кончить это письмо. Но — вот закончил, хотя радости особой нету: снятся тревож-

ные сны. И от тебя нет и нет письма... Вообще-то я хотел в этот раз писать только о себе, о своем деле, хотелось поразмышлять, что определило мое пространственно-временное бытие на целых четырнадцать лет; написать о моих поделниках, таких же бедолагах, как я, но, как видишь, увело меня в этом письме черт знает куда!

Признаться, уже шесть с половиной лет сижу в этот срок (да и в тот отсидел шесть), и до сих пор не задумался глубоко: "А за что ты сидишь?". Такая, видно, привычка — не искать ответов.

Как живу? Если исключить реакцию Манту — нормально. Если исключить беспокойство за тебя (давно нет писем) — нормально. Если учесть, что так вот живу давненько, — нормально. Могу даже в рифму тебе ответить:

Если спросишь меня, как живу,  
На звезду я тебе покажу:  
Как такие пространства, бедняжке, согреть?  
А горит и не хочет сгореть!

Вот так, чуть приболеешь, и на лирику тянет.

Передай поздравления с Новым годом Кларе, Виктору, Майе, Сильве, Рут<sup>4</sup>...

Вот на этом закончу письмо, любимая. Пиши, как живешь, как с работой, не устаешь ли? Крепись, дорогая! Будь осторожна и не перерабатывай!

Обнимаю и нежно целую  
Твой...

31 декабря 1976 г.

## Глава четвертая

Здравствуйте, дорогие мои Любонька и Анютка!

Сегодня двадцать шестое, получил ваше письмо...

В прошлый раз я писал, что меня свалило. Сейчас наконец оправился: постепенно исчезли головные боли, потихоньку начала приливать энергия. Врач прописал уколы АТФ, В-1, В-12. Уколы не люблю, но терплю. Стал бодрее — лучше сплю, не потею, не знобит. ...В эти дни я больше читал — от работы был освобожден. И я знал, что впечатления и мысли во время болезни найдут свое место в общем потоке моего сознания...

...День. Сутки жизни — это один из кругов, в котором совершается течение моего здешнего существования. В этом круге я работаю, отдыхаю, читаю, разговариваю, болею, жду свободу и — отрекаюсь от свободы.

Вместе со мной совершают тот же круг своего восхождения в бытие и небытие мои сокамерники и вместе с ними весь "спец"<sup>1</sup>. Что самое главное в этом круге существования? Работа, еда, сон, общение или что-то иное? Надежда или наоборот отчаяние? Трудно ответить. Поэтому я определю главное не по внутреннему содержанию (оно, наверное, разное у каждого из заключенных), а чисто по внешним признакам. Ну, а внешне совершенно очевидно, что самое главное для человека в здешнем его существовании — или сон, или работа. Это доказывается математически: ведь на сон и работу отводится по восемь часов в сутки.

Кто-нибудь возразит, мол, вышеприведенная дилемма неверна, ибо для ээка главное — безусловно сон, а рабо-

та — главное для администрации. Увы, мой опыт подсказывает, что такое поверхностное суждение верно лишь в малой степени.

Не всякий выдерживает долго без работы (я имею в виду, конечно, лагерную работу — принудительный труд). Человек, который неспособен жить интеллектуальной жизнью, будет *требовать* лагерного труда, потому что невозможно созерцать в течение месяцев и лет по двадцать четыре часа в сутки физиономию соседа, чтоб не помутилось сознание от такого зрелища. Ты можешь возразить, что все-таки не двадцать четыре часа, а шестнадцать, но я утверждаю, исходя из опыта, что погрешности не будет и в случае упоминания цифры двадцать четыре часа — ибо с годами лица сокамерников проникают в наши сновидения, вытесняя оттуда всех, кто пребывал там со времен свободы. Так что во сне приходится наблюдать ту же физиономию, что и во время бодрствования, и бывает даже, что замечаешь на ней какой-нибудь изъян, прыщик, что ли, какой-то, который не видел днем. Какое же созерцание более реальное — ночное или дневное? — спрашиваешь сам себя в недоумении.

Конечно, самое необходимое — это сон. Тут мои воображаемые оппоненты правы. Не дайте человеку поспать несколько суток, и он копыта откинет, и напротив, я сам знаю людей, которые не работают несколько лет — хотя это и исключение. Такое же, впрочем, как тот человек из Венгрии, что не спит уже несколько десятков лет. Справедливо, конечно, что если человек не поработает несколько суток, то ничего с ним не случится особенного, разве что сокамерника огреет чайником по голове от скуки; справедливо также, что и без еды человек выдерживает вроде бы до шестидесяти суток (меня лично в семьдесят втором году стали кормить на девятнадцатые сутки<sup>2</sup>), — следовательно, и еда, как необходимый компонент жизни, уступает сну. Но мой вопрос — не что самое необходимое в здешнем круге жизни, а что — **ГЛАВНОЕ?**

Главное же — то, вокруг чего вертится вся наша тутош-



няя жизнь и чему, кстати, "положено" быть главным, — работа. Так и начальство думает.

Как работают разные люди?

Уголовники. "Работа? — спросит уголовник. — Что о ней говорить? В гробу я ее видел. От работы сзади горб, спереди — грыжа. У кого рога большие, тот пусть упирается и прет норму. Вот полицаи — им, бычьим шеям и лошадиным головам, на роду написано пахать". Запрягают, однако, всех, не только полицаев, и пашут все. Уголовник, правда, брыкается, но периодически пашет даже за двоих. Сии периоды совпадают с временем карточных проигрышей: проиграл — паши, расплачивайся. Один невезучий уголовник до того доигрался-доработался, что и во сне повторяет рабочие операции. Все мы забавляемся, созерцая самодеятельное представление: наш сокамерник артистически изображает этого "невезучку", трущего во сне стекло<sup>3</sup>.

Полицаи. Эти пашут неистово — из-за пустоты существования, загоняя в выполнение нормы тоску и отчаяние. Пашут также из-за заработка. Хотя нам платят половину заработанного, и после дополнительных вычетов из второй половины за питание и одежду на счету остаются гроши, но при выполнении нормы можно заработать. И вот полицаи жмут на все педали, чтобы выгнать две, а то и две с половиной нормы и положить на свой лицевой счет<sup>4</sup> шестьдесят — во семьдесят рублей в месяц.

Помню: когда мы были на десятке<sup>5</sup>, почти все оттяпавшие себе пальцы на холодных прессах, были полицаи. И что характерно: оттяпав пару — тройку пальцев, они снова шли работать на пресс. Не для того, чтобы преодолеть профессиональный страх, как, например, нокаутированный боксер, что снова идет на ринг, или неудачно катапультировавшийся летчик — на самолет. Нет, просто идут на заработки. Ничто не в состоянии остановить такого "жадину".

На той же десятке один оттяпал пальцы. Переехали сюда, в Сосновку, — стал точить стекло одной рукой, что почти невозможно: стекло выскакивает и бьется. Дали ему по сос-

тоянию здоровья инвалидность второй группы — можно не работать, однако он продолжал трудиться, и даже с еще большим рвением, так как все деньги шли ему — половину не вычитали<sup>6</sup>. Увы, видимо, его ангелу-хранителю такая настырность показалась оскорбительной, уже почти нечеловеческой, и ангел отступился от своего подопечного: бедняга откинул копыта.

Но, с другой стороны, — пусть бы себе работал. Ведь на воле у него оставалась семья и, возможно, нуждалась. Какая семья не нуждается? Нетрудовых доходов никто не имеет, "рантье" и "тунеядцев-миллионеров" у нас нет, а на заработную плату далеко от нужды не убежишь. Как-то так вот...

И все-таки правильно говорят, что труд облагораживает человека. Даже в этом случае он облагородил его. Человек работал и умер. А представь себе, что он бы не работал, не ходил бы в цех, а сидел бы сиднем в камере. Он бы потерял и ту долю благородства, которая есть даже у последнего ничтожества, ибо и это ничтожество — человек, сосуд Божий. Я хочу сказать, что он бы надоел нам до ужаса своим видом, своими рассказами о болезнях, рассуждениями о том, что надо делать арабам, чтобы задавить евреев, или как будет хорошо, когда будет одна советская власть в мире, как вот сейчас у нас: работай сколько хочешь, никаких дипломатических приемов и прочих растрат народных денег. И главное — если власть что-то прикажет — можно делать это спокойно, не боясь потом другой власти, которая за это же самое накажет... Он бы маялся и томился, днем спал, а ночью курил и кашлял, мешая спать другим, оправлялся бы в камерную парашу и преследовал нас скучающим взглядом, он разлагался бы нравственно и психически. Ибо именно такова закономерность превращения людей бездуховных в этом замкнутом четырьмя стенами плюс замками, плюс законами, пространстве. Он бежал в работу от ужаса психического разрушения.

А семья, как потом оказалось, он денег не высылал...

Иное дело — человек, способный к умственной работе.

Он тоже убегает — но не в каторжную работу, а от сокамерников, которые мешают сосредоточиться. Он тоже опасается разрушения психики — но не от пребывания наедине со своей душой, а как раз наоборот — от постоянного и вынужденного общения с одними и теми же людьми. Поэтому в работе он тоже нуждается: ведь выход из камеры в цех разрывает замкнутый круг этого навязанного администрацией общения и — облегчает душу...

Ну, хватит о работе — поговорим теперь о еде. Говорят: не поработаешь — не поешь. В наших условиях по-другому: не поешь — не поработаешь. Чтобы ты поняла печальный смысл этого парадокса, поясню, что утром мне есть совсем не хочется, но я ем буквально насильно: если не поешь утром, то выйдешь на работу голодным, а голодным работать очень тяжело.

Утром есть не хочется не потому, что с вечера сыт: с вечернего супчика сыт не будешь. Просто по утрам нет аппетита. Он пропадает от одного вида нашей пищи. Профессор Павлов учил, что аппетит — это, в первую очередь, сервировка стола. Сервировка у нас, конечно, соответствует зоне особого режима — тем не менее я берусь опровергнуть концепцию знаменитого физиолога. Проведем такой эксперимент: положите на наш грязный фанерный стол хороший кусок мяса и два помидора, а какому-нибудь из законных преемников Павлова сервируйте стол с белоснежной скатертью и букетом цветов и поставьте на него мою кашу... "Школа Павлова" сразу убедится, что аппетит зависит не от сервировки, а от качества самой еды.

Но есть аппетит или его нету (а его — нету), но позавтракать необходимо. И я ухитряюсь возбудить выделение желудочного сока у себя в животе способом собственного изобретения. Когда аппетит пропадает от одного вида утренней пищи, я научился внушать себе: "Ешь, а то хуже будет" — и поджелудочная железа начинает активно работать. Берусь утверждать ответственно, что моя поджелудочная железа работает из страха и — работает сознательно. Она по-

нимает, что если не запустит в работу желудок, каша не будет переварена (и даже съедена), хозяин, то есть я, отощает, ослабнет, заболит, и — кто знает, чем это может кончиться для нее самой, для моей поджелудочной железы.

Иногда, в качестве психотерапии, я вспоминаю, как мы препирались с мамой из-за того, что я мало ем (на мамин взгляд, конечно). Глядя на лагерную кашу, я шепчу себе укоризненно: "Эх, дурак, надо было есть мясо, масло, подливку, пампушечки и вообще всякую всячину, которую мама настойчиво пододвигала, а я раздраженно отодвигал". Обещаю себе, что, как освобожусь, буду съедать все подряд, как кабан, но — тут же вспоминаю мудрое замечание покойного графа Льва Николаевича Толстого, мол, два обеда человеку скушать не дано, — и на душе у меня становится еще горше. Не компенсирую я недоеденное здесь за столом у тебя, мама...

Впрочем, в торжественный день — день получения ларька, мои мысли при виде каши разнообразятся! Нет, я все-таки съедаю ее — куда денешься! — но снисходительно, высокомерно приговаривая про себя:

— Ем тебя только потому, что грех выбрасывать еду в парашу. Но знай, презренная, что завтра ларек, и я там куплю такое... Ого! После этого, утром, и брать тебя у раздатчика не буду!

Тут, конечно, я немного загибаю, так как ничего "такого" особенного в ларьке не купишь: маргарин, карамельки, повидло, пряники, редко бывают сыр и рыбные консервы. Но все же на мои четыре рубля в месяц можно скомбинировать такую закуску, что два-три дня каша подвергается "остракизму".

Впрочем, с чего это я вдруг сегодня превратился в сибарита — уже и нашу кашу за пищу не хочу считать. "Забыл еду во Владимирской тюрьме в шестьдесят четвертом году?" — укоризненно шепчет мне подсознание... Да, были времена...

Но — тогда я был молод, неопытный был зэк; не умел проявлять аппетита. Созерцание людей, подпавших под его

тягостное иго, — поверь, это было тяжкое зрелище, — заставило меня прибегнуть к йогически-паническому самовнушению сытости. Оно оказалось настолько эффективным, что до сих пор, тринадцать лет спустя, страдаю отсутствием аппетита и нулевой кислотностью.

Помню, тогда я впервые услышал тюремный анекдот о прибалтах и сале. Характерный по-своему анекдот, в нем осколком отражается наша жизнь. Прибалт-полицай был мужик хозяйственный, экономный и терпеливый. Он привязывал на крепкую нитку кусочек сала и, перед тем, как приняться за пайковую кашу, глотал его, держа конец нитки в руке. Когда сало доходило до желудка, он поспешно выдергивал нитку назад. Слегка изъеденный по краям желудочным соком кусочек сала бережно заворачивался в бумажку и прятался до следующей трапезы: и сало поел, и сало цело.

Ладно, оставим анекдоты... Человек теоретически должен быть выше сытости, как сказано у классика советской литературы. Но как стать выше сытости человеку, у которого в голове одна мысль: "Ой, колы ж ми наемяся тай чорного хлиба?"

Нет, человек не полный шар, который может болтаться между небом и землей, накачанный возвышенными идеями о ничтожности хлеба земного. Пока он не наестся хлеба досыта, он обречен мыслям о хлебе: вот что я хотел бы возразить персонажам достопочтенного Алексея Максимовича. Человек голодный говорит одно и то же: "Первый закон жизни — борьба, и насыщение — для победителя. Не будем мудрствовать лукаво, а примем этот закон в его природной простоте". И становится такой человек подобен алчному зверю, сохранившему лишь оболочку человека, — и живет он по законам джунглей.

Когда же нет проблемы хлеба насущного, человек сам собой обращается к жизни духовной. Раз чрево сыто — начинает насыщаться дух. Насыщение духа — есть гуманизация

нравов и общества. И никто меня не убедит в обратном. Впрочем, это все для меня — отзвуки давних споров...

Все-таки я не могу понять — в завершение этого разговора о еде: ну почему, почему я не могу за свои собственные деньги, заработанные трудом, к которому принудил меня закон, — почему я не могу купить на них те продукты питания, которые желаю?

И почему узаконен отпуск только продуктов второй категории и, наверное, второго сорта за мои же деньги?

И почему я не могу получить продукты от своих родных — хотя бы от них только?

У меня есть еще несколько дюжин вопросов, на которые никто не даст никакого ответа (кроме "казуистического"). Впрочем, даже история подтверждает, что никаких разумных оснований нет для всех этих ограничений: в пятидесятые годы были в лагерях так называемые коммерческие столовые, и эски могли тратить в них заработанные деньги, и ведь не развалились предприятия и лагерные заводы...

Когда напоминаю об этом, мне отвечают одно: есть закон, и не нами он выдуман. Но ведь и законы бывают порождены случайным, неглубоким представлением о явлении или человеке. Поэтому их меняют. Есть законы, поступки, идеи, рожденные голым или почти голым воображением, — в основе их лежит скудный опыт, неглубокая фантазия и убогие знания. Но недостаток знания или опыта люди склонны компенсировать силой, голым администрированием — и потому человек или целое общество могут так долго руководствоваться смутными и ирреальными идеями и установлениями...

\* \* \*

Читаю газеты. Митинги в защиту Анджелы Дэвис и Луиса Корвалана проводились по всему миру. Но интересно было бы провести опрос: каким вы себе представляете существование Луиса Корвалана в застенках хунты Пиночета?

Или как в вашем воображении выглядит узилище, где томится Анджела Дэвис?

А вчера радио передало, что некая озверевшая хунта вдруг взяла и освободила Луиса К., "дорогого Лучио", как звали его трудовые массы всех трущоб в мире, или "Люсю", как ласково звали его в наших зонах.

Что же я слышу в ответ на этот замечательный акт<sup>7</sup>? Бессмыслицу, источник которой — водопад эмоций, накопившихся у моих соседей совершенно по другим причинам. Эти люди разряжаются сейчас, как ружья, наведенные на цель. Речь их абстрактна, ее следует рассматривать лишь как форму аутопсихотерапии.

Таковы они все, но таков же и я сам. И потому все последующее письмо — лишь желание поболтать и таким образом разрядиться. Именно так ты его и воспринимай.

— Провокация, — отозвался на освобождение "Люси" с дикой и безапелляционной интонацией сокамерник со странно блестящими и неподвижными глазами.

— Пираты мы, и нет у нас закона.

Чихали мы и на закон Ньютона, —

это запел песенку пиратов из бессмертной детской книжки про Питера Пенна другой сокамерник — подписчик "Пионерской правды"<sup>8</sup>.

— А, может, это все-таки результат магических усилий Люцифера, — высказался третий.

Загадочную для постороннего мира фразу я вынужден наполнить здесь смыслом.

Прежде всего, ее не следует понимать буквально, т. е. Люцифер — вовсе не настоящий, не "Ангел бездны" из английского поэта Мильтона. "Люцифер" — "кликуха" бывшего уголовника. Он, собственно, сам себя так прозвал — ибо провозгласил себя помощником Сатаны в нашем филиале. Стал носить изображение Шефа на шее (крестик, на обратной стороне которого вниз головой висел Христос). Надо заме-

тить, что его мефистофельская физиономия и татуировочные наколки вокруг глаз действительно делали его похожим на Демона Зла.

Так вот, Люцифер каждую ночь требовал освобождения Луиса Корвалана. Как только затихал в тюрьме крик "отбой!" и в камерах гасили свет, на всю тюрьму разносился хриплый, одышливый голос Люцифера:

— Свободу Манолису Глезосу и Луису Корвалану тоже! Свободу... Отдайте...

И вот сбылась мечта: мученик и герой — на свободе! Как сказали бы эллины, орел убит и Прометей раскован. Может быть, в этом эпохальном событии есть и твоя доля усилий, скромный враг человечества Люцифер? Где ты сейчас? Радуюсь или наоборот печалишься, что пропал повод для твоего единственного публичного выступления, воспринимавшегося с успехом и улыбкой публики?

(Примечание в скобках: Люцифера сейчас нет с нами, потому что люциферова камера как-то взбесилась — только сейчас уловил тут нелепую игру слов — и забаррикадировалась. Когда "параша" стала полной доверху — ох, этот быт, гасящий дерзкие порывы! — им пришлось разобрать баррикады. Всех отправили на "перевоспитание" в крытую тюрьму.)

...Так вот — отмучился, наконец, Лучио. Бедняжка, его в последние дни так изолировали от мира, что даже с заграничными журналистами трудно было встретиться. Наверное, кушанья из Красного Креста тоже чилийские менты половинили, только на передачах из дому как-то тянул. Ну, и медицинских светил со всего мира к нему не допускали — ни на шаг! А он ведь уже старенький... Сколько, однако, его мучили, терзали, пытали? Кажется, целых три года? Живого места поди на теле нет? Писали же в газетах...

Но... нет у меня слез. Как арестант, я должен бы сочувствовать другому арестанту, но... нет слез. Вот семье его сочувствую: неожиданно хорошая, милая семья. Сын, дочери, жена, внук, невестки — все симпатичные, милые лица. В кино у нас показывали...



И вот этот феномен неожиданного и, в общем, противостоительного равнодушия к страданиям другого узника мне и охота сейчас разобрать.

Почему же я был так равнодушен к страданиям — титаническим и теперь уже историческим?

Не удивляйся моей ироничности. В газетах появлялись сообщения жертв, которых наконец освободила зверствующая хунта, — о пытках, издевательствах, бесчеловечных условиях в тюрьмах и лагерях. Это были сообщения крупнейших международных агентств. Международные комиссии и комиссии ООН шныряли по Чили, по лагерям и тюрьмам, и собирали факты. Помню рисунки орудий пыток, помню целомудренные признания женщин, сколько раз их насиловали и т. д. Все помню — не стоит повторять.

Но... газетные сообщения о пытках, митингах, "Но парасан!", пресс-конференциях и международных конференциях я пробегал вскользь. Они не вызывали эмоций. Все это не убеждало, не достигало сознания. Равнодушие порождало чувство собственной вины, а потому я аккуратно вырезал эти сообщения из газет, мысленно приговаривая: "Накопится достаточно материала — разберемся!" (Дополнительный фактор, порождавший скепсис: я ведь и у нас знал "фантазеров", которые еще не такое могли бы порассказать доверчивым любопытным, дай им только себя показать, да еще на международной сцене. Но — фантазия и есть фантазия.)

Но — почему же я оказался неспособен воспринимать всерьез газетные сообщения о зверствах хунты? Что произошло с моей психикой, с моей "второй сигнальной системой", выражаясь по-научному?

Ответ: моя вторая сигнальная система и прочие части психики были деформированы атмосферой разрядки, процветания, прогресса, мирного сосуществования и взаимных признаний народов в любви.

Попросту говоря, я не верил в пытки. То есть, конечно, я понимал, что в первые, самые горячие дни противоборства двух социальных сил солдаты, офицеры и полицейские би-

ли и стреляли при малейшем сопротивлении, избивали отдельных, особо ненавистных лиц при допросах. Но это были, по моей оценке и при моем знании внутреннего механизма карательной системы, — личные пристрастия. Так сказать, личный вклад негодяев и подонков в "общенациональное дело". В любой стране, особенно в ее органах, занятых карательными функциями, всегда найдется немало палачей по самой их природе, которые будут рады найти повод для удовлетворения своих садистских наклонностей.

Но в пытки как в систему обращения с заключенными — я не верил. Попросту потому, что сейчас мир, а не война, и я не мог представить, зачем в мирное время нужно пытаться, мучить и бить. Если не война — значит, не горит, есть время для любых допросов. Враг не наступает, и того, кто попался, уже никто не освободит. И сам он не улизнет — деньги на расширение штата охраны можно отыскать (на такое дело финансы всегда найдут). Нет, мне не объяснили все корреспонденты и участники пресс-конференций — зачем так спешили с допросами?

Но все-таки — почему же агентства и газеты обо всем этом сообщали? Не был же этот поток сообщений вульгарной ложью!

Нет, не был. Но, должен признаться, мое сознание уже отравлено буржуазной лженаукой — теорией игр. Она утверждает в применении к данному феномену следующее: все действия общества подчиняются законам игры. Поскольку в мирное время надо чем-то профессионально заниматься пропагандистам, агитаторам и политиканам, они сочиняют сценарии и устраивают под открытым небом, на натуральной сцене, этакие массовые "шоу" для удовольствия горячо любимой публики и отработывания собственного жалования. Надеюсь, этого нет в Испании: ведь там существует коррида, быки и прочее для народа, этакое шило, прокалывающее вечно раздутый мешок массовых эмоций. Ну, в других странах? Гладиаторов нет, кровь на песок не льется — страсти обязаны накаляться. И тогда ставятся "шоу", спектакли,

где враги вырезаны из бумаги, льется чернильная кровь, зато страсти вокруг этих сражений распалются почти натуральные! Какая чудовищная теория игр, правда? Она-то и отводила мои глаза от многочисленных сообщений иностранных агентств из Чили...

Но вот все как-то успокоилось, отстоялось в буре событий. Бесчеловечное лицо хунты разоблачено и даже, как выразилась "Литературная газета", — "дополнительно": одна амнистия для политзаключенных, потом — другая амнистия, и вот теперь то самое "дополнительное саморазоблачение". Освобожден "архивраг" хунты, чилийский Прометей, похитивший для народа огонь с неба.

Что мне делать теперь с моими вырезками? Как успокоить совесть, грызущую меня за то, что в свое время я не сопереживал страданиям чилийских жертв и глаза мои оставались сухими?

И вот в моем мозгу происходит такой неслышимый миром диалог:

Душа: — Ты человек гуманный, и я у тебя должна болеть за каждого узника, как бы ты ни относился к его взглядам.

Разум: — Да ведь там, в Чили, шла просто игра общественных сил. А игра — это всегда чет-нечет. Кому вышел нечет — тот жертва, но ведь он же при ином исходе игры стал бы палачом.

Душа: — Так оно, пожалуй, что и так, но представь, что это тебе выпал нечет, что это тебя мучает хунта. Посмотри на тамошнюю действительность не с Олимпа некоей математической справедливости, где каждому воздается по делам его, а с состраданием, безотносительно к прегрешениям жертвы...

Разум: — Так что мне теперь — лезть в сундук, доставать вырезки и задним числом лить над ними слезы? И потом — освобождение Корвалана доказывает мне, что там, наверняка, была масса выдумок.

Душа: — Ай-яй-яй, как тебе не стыдно!

Разум: — Ну, а я — зверь, что ли? Я, может быть, тоже на свободу хочу.

Душа: — Ты?! Да тебя и людям-то показывать нельзя, такой ты ужасный преступник... Ты?! Да на себя оглянись! Ты же вылитый тигр, ты и внешне похож на тигра — такой же полосатый, вот<sup>9</sup>! И срок у тебя вон какой, в два захода — двадцать лет лагерей, а у Корвалана и срока-то не было...

Разум: — Но...

Душа (темпераментно): — Да кто ты такой вообще? Ведь Лучио чуть самым главным не стал в своей стране, только вот Пиночет его опередил, а ты кто такой?

Разум (кисло): — Так что же, заметочки читать?

Душа: — Читай, милый, читай, учись гуманизму, состраданию, сочувствию каждой жертве...

Разум (вдруг снова взбрыкнувшись): — Нет, не буду читать, я сам гуманный... Это ты готова сочувствовать всем — и палачу, и жертве, а я так не могу. Мне сначала надо увидеть жертву, чтобы проникнуться состраданием. Покажи мне ее живьем!

И ведь в чем-то этот жестокий разум прав, вот какая штука. Чтобы по-настоящему сострадать другому человеку, надо влезть в его шкуру. Не просто натянуть ее на уютную пижаму, а надо сначала содрать свою, тогда и чужая плотно, как по мерке, ляжет.

И тут я возвратился от нашего Лучио-”Люси” к своей всегдашней теме: как сопереживать страданию другого человека? Хорошо предметам неодушевленным — самолетам, космическим кораблям: их ставят на стенд в лаборатории, и они испытывают на месте все то же, что их реальные модели в космосе или в воздухе. А как быть с человеком, у которого слово ”сидеть” ассоциируется с сидением перед телевизором или за обеденным столом? Не сажать же его на испытательный стенд — в некую модель тюрьмы, чтоб у него появились нужные ассоциации при слове ”сел”, или ”отсидел”, или ”посадили”...

Я не в укор это кому-то говорю, кто не может представить мою ситуацию, нашу ситуацию. Ведь я и сам, например, не могу вообразить себя солдатом в окопе. А пытался много раз — хотелось мне этого. Вот чувствую: сидит он. Обнял винтовку, ворот шинели поднят, сам синий от холода, невидящим взглядом уставился в стенку окопа, на которой в сырости и грязи извивается червяк. Может быть, сейчас дадут сигнал, и это будет последняя атака в его жизни? Он переживает это всем своим существом, но как пережить это же мне, как постичь, как описать его состояние? Была война, война может повториться, где-то война идет каждый день, и — что, может быть, самое важное, — и в мирной жизни люди постоянно попадают в ситуации, адекватные солдатской. Человек стоит лицом к небытию, смерти, пытке, неволе — ведь это может стать завтра уделом любого из живущих! Сколько я об этом прочитал, сколько повидал на экране — и все было кукольным театром. Солдат дрожит и умирает по приказу храброго генерала — я закрываю книгу или выхожу из кинотеатра с хорошим аппетитом и в приподнятом настроении. И это — даже при чтении действительно хороших авторов — Мейлера, Быкова, Бондарева<sup>10</sup>...

...Вот был такой великий писатель Достоевский, он умел описывать сокровенные переживания человеческой души, как никто другой, и самому ему пришлось пережить мгновения перед казнью — побыть в шкуре "солдата перед атакой". Но и он, видимо, передал лишь какую-то долю безмерного по объему и бесконечного по содержанию мира человеческих чувств перед лицом смерти. Тут надо соотносить образы с собой, с чем-то, что адекватно чужим состояниям психики, иначе даже Достоевский не поможет... Хоть во сне попробуй пережить, раз не можешь в жизни.

Я однажды так и сделал. Снился мне сон, что воюю на настоящей войне, веду перестрелку в уличном бою. От страха спрятал голову и, не целясь, нажимал на курок карабина. Потом спрашиваю себя, дрожа: значит, я трус? Боюсь

поднять голову? И нашел в себе силы, поднял голову, стал вести прицельный огонь.

Так вот и сопережил, наконец, солдата в окопе. Добился своего.

Дальше образы стали скапливаться. И куда-то исчезла детская потеха при виде лисы, бегавшей вокруг мышки, мечущейся, дрожащей, с трепещущим сердечком. Или вспоминался волк, нападавший на неповоротливого бобра на суше, с хвостом лопатой — бобер отчаянно защищался, но видно было, что судьба его решена и не вернуться ему к своей бобрихе и не обнять своих бобрят... Я до того постепенно раскошегарил свою фантазию на эту тему, что один раз, поднеся ко рту синий кусок мяса на ложке (нам вилки не дают), вдруг услышал голос:

— А ведь и этот поросенок тоже дрожал и упирался, когда мясник подтаскивал его под нож.

Тут я, признаться, застыл и уже хотел бросить кусок ожившего мяса, но опять раздался раздраженно-уверенный голос моего разума, того самого, который долго спорил с душой:

— Что ж, теперь с голоду подыхать будешь? И так уже костями гремишь!

И, побежденный им, я затолкал суетливо мясо в рот, преодолевая душевное смятение. Лучше бы я этого не делал, на пользу не пошло: разболелся живот. Тогда я постарался поменьше думать о животных и переключился на людей. Кстати, стало полегче: по крайней мере аппетит, настроение и даже живот оставались в норме.

Может быть, подобная жалость к человеку охватила главарей чилийской хунты, и они поэтому отпустили Корвалана? Что ни говори, хунта совершила гуманный поступок — не каждому начальству дано. Я представляю, как они прониклись жалостью... Гуманизм, возможно, покоится на упорном воображении, заставляющем увидеть во взрослом человеке ребенка. Видишь перед собой маленькое, пухленькое, беспомощное существо, удивленно хлопающее глазами,

из которых вдруг брызгают слезы; слышишь его печальный, призывный крик о помощи: "Мама!" — и становится его жалко. Конечно, это испуганное и милое существо растет — и вдруг перед нами нечто другое — жестокое и противное создание. Как говорится, все дети хороши — откуда негодяи берутся? Нелепо, но вдруг приходит в голову: возможно, потому, что рядом с хорошими детками стоят образы негодяев, чувство жалости и гуманизма так непостоянно на свете...

Тебе надоели мои рассуждения? Они абстрактные — обо всем, а, значит, ни о чем...

## Глава пятая

Здравствуйте, мои дорогие Любонька и Анютка!

Недавно получил твое письмо, милая, от второго марта. Успокоился, что ты доехала благополучно... Знаешь, сразу после свидания, 25 февраля, меня отправили на больницу. Думал, что пробуду там не меньше месяца, даже шутил, что наем толстые щеки, однако пробыл там всего неделю. Сегодня уже двадцать третье, а я вот, дорогая, только начинаю это письмо. Хотел сразу же ответить, как только получил твое письмо от второго числа, но, как видишь, не получилось. Тянул с ответом только потому, что был просто не в состоянии осуществить это физически: по приезде из больницы сразу сдали желудок и сердце. Ни физическое, ни умственное напряжение, которых требует письмо, были мне не под силу.

А особенность нашего существования требует необычных в таких случаях усилий, требует сосредоточенности и напряжения, так как надо преодолеть шум камерный и коридорный, нужно справиться с отрицательными эмоциями, вызываемыми людьми, от которых невозможно уединиться. Кроме того, физически мне тяжело, утомительно писать на койке, а стол часто занят.

...На этом я прервал вчера мое письмо: по коридору разнеслась команда: "Приготовиться в кино!". Затем загремели замки и двери, и я вышел в коридор — посмотреть фильм...

Сделать этого не удалось — зав-кинокрут никак не мог найти звук. Мы посидели-посидели на лавочках в коридоре, нанюхались там угарного газа, выходящего из печек, полу-



злобно поострили насчет киноаппарата и киномеханика, который нажимал кнопки, щелкал выключателями, а потом принялся разбирать киноаппарат на части, — и разошлись по камерам восвояси.

Через несколько минут прозвучал отбой. Очевидно, сегодня опять будет сделана попытка показать нам вчерашний фильм. Сейчас будет ужин, затем развод на работу второй смены, после этого загремят в коридоре расставляемые скамейки, затрещит опробуемый киноаппарат, по команде надзирателей захлопают двери, я усядусь рядом с Эдиком и Юрой<sup>1</sup> на холодную скамейку, принесенную с улицы, пробежит вперед шустряк, истомившийся любитель кино, он полезет опускать экран на проходной двери-решетке, разделяющей коридор на секции, и... может быть, опять на экране замелькают картинки без звука?

Я бы не пошел смотреть фильм — надо дописать это письмо и есть что почитать — но много ли я выиграю? Нелегко сосредоточиться, когда в коридоре идет фильм, — в камере хорошо слышен весь текст кинокартины, и воображение, естественно, устремляется в коридор, пытаюсь представить, нарисовать то, что оттуда слышится...

Здесь я оборвал вчера письмо, ибо опять раздалась команда: "Выходи в кино!" — но в этот-то раз мы все же фильм посмотрели. Это была документальная лента о Джеке Лондоне. Они — и фильм, и Джек Лондон, конечно, — вызвали у меня цепь размышлений, волнующих в данное время в зоне, — размышлений о человеке и его деле, об их соответствии и несовпадении.

Вот был человек, думал я, и оставил в памяти людей, запечатлел на годы свою личность, свой дух. Но как понимать — он воплотил свой дух в памяти... Ведь воплощается не весь человек, а лишь часть его. Но, может быть, в этой воплощенной части и скрывается самая суть человека? Но что считать сутью? Мне кажется, это неразрешимый вопрос с точки зрения нравственных критериев. Можно ли считать, например, сутью поэта его стихи о свободе, если свободой

он называл рабство? Или сутью романиста — романы о счастливой жизни, если радостью жизни и достоинством человека он называл вечное прозябание?

Душа человека безбрежна, и сам он противоречив. Поэтому человек остается воплощенным в своем творении не всей душой, богатством, противоречиями своего духа, а лишь тем, чем хотел воплотиться, или же сумел, или просто случайно, сам толком того не понимая, воплотился. Это может стать его сущностью, а может — лишь его... фантазией.

Как соотносится поступок человека с его душой, личностью? Как соотносится творение со своим творцом? Что воплощено в полотне, скульптуре, мелодии, слове — кредо художника, его нравственно-духовный мир или же просто игра его ума, вернее — сложный сплав знаний (навыков) и творческой холодной интеллектуальной силы, питающейся энергией чувств, но не подчиненной этим чувствам? Эти вопросы меня волнуют сейчас — чуть ниже ты поймешь почему именно.

Ведь не случайно великий художник сказал: "Мысль изреченная есть ложь"<sup>2</sup>. И все искусство — ложь! И чуть ли не все согласны — правда, на Западе, конечно же, не у нас — что идеология тоже ложь! Религия — это даже у нас известно — дурман, опиум для народа. Уже и героизм считают вещь относительной — и не случайно, не без оснований: очень часто геройский поступок направлен на благо одних людей, противопоставленных совокупности других, и оценка героизма зависит от того, кто именно его оценивает.

Конечно, постижение абсолютной ценности поступков и творчества человека выглядит задачей очень сложной. Но мне — может быть, излишне самоуверенно — представляется, что существует некий критерий, который может помочь. Вот он, мой личный критерий: все, что оставили нам предыдущие поколения людей и что служит благу человечества, то есть нравственному воспитанию и совершенствованию души, — все это может быть поставлено в заслугу

ушедшим от нас людям. Мы, однако, склонны отождествлять создания этих людей с их душой, с их подлинной сущностью, с их "я", грубо говоря. Это и есть заблуждение. Человек, в том числе творец, шире своего создания, своего воплощения. И человек — очень часто не то самое, что он создает.

Заблуждение на эту тему порождает идолопоклонство. Идолопоклонство, в свою очередь, выносит на свет нетерпимость и жестокость.

Мир становится все хуже. В отношении ушедших — и то мы не должны допускать абсолютного отождествления их идей или действий с сущностью духа самого ушедшего. Тем более мы не должны позволять то же самое по отношению к нашему современнику. Ибо тогда мы закрываем возможность критически относиться к последующим поступкам человека, к его изменяющейся во времени или открывающейся новым содержанием личности.

...Эта проблема требует размышления, здесь далеко не все лежит на поверхности. Но она становится актуальной и в наших специфических условиях. В последнее время появились в прессе три интересные статьи: одна из них имеет непосредственное отношение к нашему лагерю<sup>3</sup>. Я не буду обсуждать тут такие аспекты этой статьи, как "кто есть кто?", законность использования личной переписки или проблему этическую: можно ли вообще писать в письме то, что написал Ш.<sup>4</sup> Для меня эта статья интересна тем, что я в ней нашел подтверждение своим размышлениям об общечеловеческом в отношениях людей. И подтверждение вышесказанному: есть идеи и есть люди — идеи обретают существование сами по себе, независимо от людей, давших им жизнь.

Это отделение идеи от человека может противопоставить человека его же идее — это случается тогда, когда по своим внутренним качествам человек не соответствует той идее, к которой он прилепился, с осуществлением которой связал жизнь. Более того: человек, обретя возможность говорить и действовать от имени идеи, может ее извратить до неузна-

ваемости. Если это случается, нам следует поразмыслить: или же люди, позволяющие извратить идею, не доросли до ее сути; или же сама идея содержала в себе нечто порочное, ложное, что объединило вокруг нее людей нестойких, согласных и молчаливо допускающих извращение своих принципов.

Поступки каждого человека, даже самого авторитетного и героического, требуют к себе критического отношения. Оно необходимо, чтобы узнать этого человека поглубже, проникнуть в его нравственный мир. В противном случае мы можем оказаться орудием в руках прохвоста.

Такое познание — трудный процесс, но зато становится возможным предвидеть поступки человека. Узнаешь стереотипы его поведения — и можно его попытаться предсказать на будущее. (Впрочем, человек ни в одной ситуации не поступает заданно, раз и навсегда: если бы это было так, оказалось бы возможным познать его внутренний мир.)

На самом-то деле поступок или решение человека являются лишь частью его внутреннего мира, и всегда в нем остается резерв непроявленных сил, часто противоположных тем, которые проявились именно в данный момент. Потому мы и не можем познать нравственно-духовную суть человека до конца.

Может ведь случиться так: вы скажете — вот человек нравственный, а это окажется такой же истиной, как если бы человек, попавший в лужу нефти, разлитую по поверхности океана танкером, воскликнул: "Вот океан нефти!"<sup>5</sup>.

\* \* \*

Из истории известно, что самые "святые" организации и самые, казалось бы, нравственные люди, стоявшие во главе народов и государств, охранители закона, блага и морали, — легко нарушали этот же самый закон и эту же самую мораль, когда действовали в общественных интересах. И совершалось это так естественно, что никто не замечал противо-

речия в их безнравственном поведении. Наоборот, все объективно объясняли неизбежным ходом событий, государственными интересами, высокими целями и т. д.

Секрет в том, что часто не субъект решений, властитель и лидер, но объект, жертва решений или поступков руководителей, выпадал из поля зрения... Все это заставляло думать, что мир, благо и справедливость покоятся на хрупкой основе, на внутренне противоречивом и таком несовершенном человеке! Именно поэтому человек издавна искал опору не в самом себе, а в совершенной общественной системе: "Какая бы она ни была приближенная к идеалу, до поры до времени ненадежная, но она, система общественных отношений, дает объективные гарантии справедливости и законности. И все объекты, люди, рано или поздно станут нравственными, потому что их к этому вынудят социальные условия жизни".

При этом как-то забывалось, что социальные условия — это не только общественные отношения, но и люди, прежде всего сами люди. Допускалась элементарная ошибка! А эгоист-человек мог превратить любой закон в орудие насилия и, прежде всего, самоутверждения. И любую систему он постарается повернуть так, чтобы она служила его благу. И ограничить его эгоистические притязания можно, но это способен сделать другой человек, нравственный и самоотверженный, а не система...

Итак, все снова возвращается на круги своя: человек есть камень, на котором стоит здание мира.

Эти абстрактные рассуждения туманны, я понимаю, но сделать их конкретнее, объяснить, что именно я имею в виду, — не решаюсь. Трудно говорить о щекотливых вопросах в письме, проходящем цензуру: очень трудно говорить о союзниках. Вот Ш. открыто сказал то, что, по мнению других, надо было скрывать. Он, конечно, не жалеет о том, что сказал, но жалеет, что сказанное попало в ту статью. Сейчас строчит жалобы во все инстанции (я-то думаю, что он говорил истину, но не нужно было писать то письмо).

Но о чем и о ком мы можем говорить в своих письмах? Мне, например, хотелось бы петь "хвалебные песни" себе и другим "мученикам". Но это навряд ли понравится цензору.

В письмах мне уже приходилось говорить о людях, с которыми меня сводила судьба в заключении. Но до сих пор как-то ухитрялся, упоминая какой-то персонаж, в то же время как бы не касаться конкретного лица. Объясняется это, конечно, специфическими условиями переписки — попросту цензурой. Я не могу серьезно исследовать мировоззрение, судьбу даже тех лиц, к которым отношусь отрицательно (например, полицаев или уголовников). Ибо человек бесчислен в своих нитях-связях с окружающими. В нем, в его исковерканной судьбе, можно увидеть судьбы бесчисленного множества, кто так или иначе, прямо и опосредованно, творил его судьбу вместе с ним самим, кто приложил к его участи руку и заколачивал его в этот гроб.

Мне приходилось отыскивать в поведении и характере соузников смешное и уродливое. Возможно, мне стоило больше подчеркнуть свое сострадание к ним? Впрочем, я уже не знаю, можно ли в моем истинном отношении к ним найти сострадание? Вообще-то мне кажется, что я обладаю этим чувством, но, может быть, это заблуждение? Я имею в виду, что сочувствую лишь конкретным людям и — тем из них, кто мне не антипатичен.

Я не буду ханжески утверждать, что готов разделять страдания, принять на себя часть невзгод, унижений, даже пыток людей, вызывающих у меня здесь только ненависть и отвращение. Не могу сострадать человеку, в человечность которого я не верю, напротив, уверен в его внутренней бесчеловечности. Сострадал бы я, например, Гиммлеру, если бы сидел в одной с ним камере? Нет, и не могу представить порядочного человека, который сочувствовал бы ему, согрел бы его жизнь вниманием, душевным теплом, дружеским участием, солидарностью в отстаивании наших общих прав...

Если некто заявляет, что он сострадает всем и каждому,

палачу и жертве, то такое сострадание в лучшем случае абстрактно, т. е. внемчувственно, ненатурально, а в худшем — просто ханжество.

Сострадание ко всем и каждому, в том числе к людям, сеющим смерть, — чудо на Земле. Я не встречал людей, проникнутых только любовью к человеку. Как его реально представить? Подобный образ есть у Булгакова в "Мастере и Маргарите", но мы верим в его Ешуа лишь потому, что относим его образ к тому, кто назван в Евангелиях Богочеловеком. Только тот, которого мы считаем эманацией Бога на Земле, мог сострадать всем и говорить так, как Ешуа: все люди добрые, все достойны любви и сострадания, с худшими из них надо только поговорить, чтобы открыть им самим их изначальную доброту.

Я, например, сколько бы ни говорил с Крысобоєм<sup>б</sup> или Мандатовым, скажем, навряд ли открою в них доброту. По моему ощущению, в этих персонажах доброта и не ночевала. Как человек я могу *понять* систему взаимозависимости людей друг от друга, при которой судьбу каждого создают все люди сообща и, таким образом, они все связаны единым страданием и достойны единого сострадания. Но это — от ума, это абстрактное постижение человеческих отношений.

В конкретном, жизненном отношении к человеку такая абстракция уступает место естественному и могучему голосу души, всего моего существа, лишь ничтожной частью коего является мое мыслимое всечеловеческое сострадание — разумное "Я".

Говоря конкретно, реальный максимум, достижимый для меня, — это хоть на некоторое время проникнуться состраданием к людям, к которым я обычно испытываю постоянное негативное чувство.

Взять хотя бы того же уголовника, который, ханжески одев на шею крест, вместо утешения и благодати лишь усиливал терзания и ад в наших душах. Я все-таки разглядел в нем то, что трудно было обнаружить в его словах, которыми он клял все и всех. Часто в моих глазах он выглядел

жалким, бездомным псом, забившимся в темный угол на нижних нарах. Если бы однажды из его угла раздался жалобный собачий вой, я не удивился бы, ибо за оболочкой ругательств и молитв я читал в его вздохах и взглядах, в его позе, в его лице тоску и бездомное отчаяние.

И к полицаю Пете, изрыгавшему на всех злобу, раздражение и презрение, мои обычные чувства иногда вдруг сменялись пониманием того, что его бесчеловечный облик, возможно, случаен, и жалостью к его загубленной душе, в которой остались лишь две-три мучившие его страсти: голод, одиночество, злобное томление.

Чувства тоски, одиночества, отчаяния испытывают в заключении все. Сила переживания, конечно, индивидуальна, но характер чувствования — подобен. И это именно позволяет нам понять друг друга — даже тех, кто антипатичен. Но есть у этого явления и другая сторона: нам легко отбросить сострадание, вызываемое соузником, так как его муки — наши муки, и мы к ним привыкаем, считаем естественными, и ни у кого из нас нет преимуществ по сравнению с другим. В общем, в каждом из нас сострадание к товарищу по заключению уживается с противоположным чувством к этому же человеку. Просто в одних случаях на первый план выступает одно, в других — другое чувство...

Писать о моем чувстве сострадания к людям трудно — и в силу моего положения цензурированного госпреступника, и потому, что мне хочется быть искренним, не кривить душой. Мои мысли не случайно обратились к этой теме. У вас, на воле, благородным считается возбуждать к нам, невольникам, лишь участие и сострадание. Но мы, находящиеся *внутри* этого мира, имеем, мне кажется, право смотреть на самих себя и оценивать себя с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Думается, это правильно — искать оценку, пренебрегающую узкими, идеологическими ценностями. Кто добр, кто зол — люди решают это, не сверяясь с идейной принадлеж-



ностью или мировоззренческими критериями, а решают сердцем.

Как бы мне хотелось расшифровать тебе все эти абстрактные рассуждения о том, как трудно остаться человечным в бесчеловечных условиях жизни. Они навеяны недавними событиями у нас в зоне. Но приходится говорить отвлеченно и скучным тоном...

Почему я так часто вспоминаю прошлое? Потому что мне удивительно осознавать, что здесь, в мире памяти моих чувств, мыслей, образов, картин пережитого, в мире запечатленного времени, — содержится тайна моей души, моей личности, моего настоящего и будущего.

То, как я думаю сегодня, то, что смогу сделать завтра, — определяется душой, сформированной прежней жизнью. Именно поэтому воспоминания не кажутся мне праздным времяпрепровождением, но — созерцанием своей души, запечатленного процесса ее формирования. Все-таки, как мало мы способны вспомнить то, что видели в жизни, слышали, промыслили, перечувствовали, как мало запомнили те действия, решения и переживания, которые создали нас и определили наше лицо. Вспоминая, мы внимательно вглядываемся в прошлое, с надеждой обнаружить то, что в конечном счете определило нашу судьбу. Впрочем, легко сказать... На самом деле, как часто мы мучаемся с нашими воспоминаниями, пытаюсь найти в бессмыслице смысл или придать им тот смысл, которого в них не было. В моей же ситуации естественное искушение — все воспоминания подчинить одной цели: приданию смысла бессмысленности моего настоящего...

\* \* \*

Здравствуйте, дорогие мои Любонька и Анютка!

Получил ваши письма от 30 марта... Получил лекарства твои, милая, — плантаглюцид и гематоген. А бандероль, которую ты послала на больницу, мне здесь не отдали и, оче-

видно, уже отправили назад. Не понравилось контролеру Гальке (она выдавала), что конфеты были в обертках с надписями нерусскими буквами. "Черт его знает, что тут написано! Будете у меня получать "Сливу" и карамель"... Так что ты, дорогая, сдери с конфет обертки, сложи их в мешочек целлофановый и пошли снова – вот и вся проблема!

Плантаглюцид уже пью, а гематоген фельдшер держит у себя – не дает.

...Вот лежу на койке, лицом к окну, и созерцаю кусок фиолетового неба в клеточку. Окно открыто, хотя еще прохладно. Позавчера кончился отопительный сезон, печки не топят, и на улице сейчас все равно теплее, чем в камере. Я смотрю через решетку в темную синь апрельского вечера и жду сосредоточенности, ясности духа и мысли. Вечера навевают на меня философичность: появляется надежда, что наполнятся сокровенным смыслом слова: "Ты есть".

За окном слышится разговор эжков, они о чем-то там гремят. Поднимаюсь, становлюсь на койку, выглядываю в окно. Вижу копошащегося среди разобранных кроватей полицейя, пытающегося сделать для себя новый лежак из досок (сетки нам запрещены), устилающих старые койки.

– Хо, – не удерживаюсь от шутки, – ящик у него не готов.

– Думаешь, пора сколачивать? – обращается к нему мой сокамерник. Шутка дурная – полицейя уже стар. Но, к счастью, он не уловил смысла и, отнеся разговор на счет своего поломанного настила, ответил: "Да, думаю что лучше выбрать и сколотить". Тут уж мы рассмеялись.

Мы хохочем, но смех у нас надрывный: в каждом сидит страх, не только старики умирают. Да и не в страхе только дело – все же есть и сочувствие к тем, кого настигает смерть. Гибель молодого парня большинство из нас недавно пережило очень тяжело<sup>7</sup>.

Чувствую вялость во всем теле, сознание притушено и опустошено, голова тяжелая. Надо двигаться, вернуться к жизни: почему бы не заварить чаю, хотя уже поздновато.

Размеренные, бесхитростные действия укрепляют душу, даже если не вернется ясность сознания, ощущение здоровья. Слезая с койки, готовлю бумагу, сокамерник подключается — насыпает спичечный коробок чаю, достает бумагу, палку... Ритуальные действия, такие простые, смещают восприятие мира в особую плоскость, и душа освежается... Да, но эти "лечебные возможности" скованы — здесь не разгонишься. Вот сейчас заметит надзиратель, что варю чай, и лечение души будет продолжено в камере.

Да, мир неволи, мир изоляции — особый мир, и человек здесь находится в экстремальной ситуации. Чтобы задуматься над ее последствиями, стоит вспомнить случайные эксперименты "чистой изоляции" — Каспар Хаузер или Маугли... Мир свободы становится для нас миром по-сторонним.

... Я смотрю на пламя, греющее кружку, в которой варю чай, и думаю, что неожиданно созерцание огня, в котором можно увидеть здесь картинки не хуже дантовских, приведет-таки меня к мыслям о "пламени счастья". Заезженная в беседах колея! Постоянно об этом говорим, читаем (одно время я даже регулярно просматривал все статьи на эту тему в "Литературной газете", в "Науке и жизни" и прочих газетах и журналах). Сейчас вот вспомнилась полемика между нашим литератором К. и западным профессором Трусом. К. утверждал, что смысл жизни в том, чтобы бороться за счастье других людей<sup>8</sup>. Трус возражал примерно так:

— Если счастье жизни в том, чтобы бороться за счастье других людей, то ведь другие тоже должны бороться за мое счастье ради собственного счастья в жизни. Но так получается логический абсурд! Да, это очень благородно звучит: "Бороться за счастье человечества" — но мы опять же возвращаемся к вопросу, что же оно такое, счастье. Наверное, голодному ясно, что счастье в том, чтобы стать сытым, причем постоянно; для узника счастье — оказаться на воле; для уroda оно в обладании любимой женщиной или в обретении красоты. Но, удовлетворяя свое представление о счастье,

мы снова видим новую линию горизонта — новое представление о счастье...

Пока я засыпал в кипящую воду коробок чаю, то успел подумать, что христианство и атеизм, деизм и рационализм, тоталитаризм и популизм, монархизм и научное мировоззрение, прагматики и идеалисты, словом, все от Мао Цзе-дуна до Ницше обещали найти панацею для обнаружения истинной системы ценностей, дабы сделать наш выбор "счастья" более разумным, истинным. Но итогом постоянно являлись скептицизм и неверие в любую систему мировоззренческих ценностей!

...Но вот чай настоялся, я встал с койки и слил его в банку. Сокамерники уже сидели за столом, как голодные пенцы, следя за моими манипуляциями. "Ну, будем счастливы!" — в ответ своим невысказанным мыслям пожелал я и пустил кружку по кругу.

— Н-да, счастливы! — откликнулся один из сокамерников...

И завязался разговор.

— Ты помнишь, как Цзян Цин, жена Мао Цзе-дуна, устроила в Пекине дискуссию и заявила, что ее счастье — в борьбе за счастье других людей?

— Не помню...

— Напрасно. В Китае тогда в моде были "дацзыбао", стенные газеты, где каждый грамотный мог без слишком большого риска возразить даже самой мадам. Конечно, возражения оставались в одном экземпляре, но оказалось, что кое-кто кое-что переписал...

— Как это всегда бывает...

— Недавно в одной гонконгской газете эти "дацзыбао" стали цитировать. Некий Мен ответил г-же Мао так: "Благородный человек вы, Цин, но мне непонятно: как вы узнаете, кто счастлив, а кто нет, чтобы бороться за счастье несчастного? Доподлинно известно, что счастливым не был ни один император! Или возьмем наш Китай: доподлинно известно, что мы — счастливые строители светлого будущего.

Можно ли кому-то, вам, в частности, бороться за наше счастье, счастье вроде бы по теории счастливых людей? Тут какая-то бессмыслица...

— Молодец китаец!

— А другой, У Синь, даже попытался сформулировать правила поведения человека-борца в наших условиях. Ну, конечно, ритуальные фразы сохранил, помнит все-таки, что живет в маоистском Китае, но выражается очень любопытно: "В нашем счастливом обществе не имеет смысла утверждение г-жи Цин, что лучшие люди те, кто борется за счастье других людей. В нашем счастливом обществе каждый должен прикладывать все силы, чтобы попытаться самому стать порядочным человеком. А если остаются силы после исполнения такой задачи, то надо употребить их на то, чтобы одернуть другого, когда тот ведет себя по-свински в общественном месте". Вам не надоело?

— Нет, нет...

— Тогда процитирую третьего китайца, некоего Женья, который мне лично показался самым глубоким из всех: "Подлинная ценность выбора проверяется единственным критерием — способностью к самопожертвованию. И если г-жа Цин уверяет, что для нее высшей ценностью является борьба за счастье других людей, то для нее не секрет, какие жертвы приходится приносить поклонникам этой идеи своему богу. Из истории известно, что бог этот суров, и в числе необходимых ему жертв значатся такие, что поклонник неизбежно будет ободран и бит. Мы всегда узнавали поклонников этого бога по синякам на лице, по выпирающим от худобы ключицам и лопаткам, по лохмотьям... У них вид, подобный тем, кого европейцы называют еврейскими проками. Вы можете встретить их отнюдь не в теплых уютных гнездышках, а на семи ветрах".

— Да уж, конечно, не на площади Тяньаньмынь<sup>9</sup>, — откликнулся кто-то. Остальные сидели молча: суровая правда Женья, неизвестного китайского собрата, покорила и даже подавила их.

...Ночью мне снился мчащийся конь вороной. Какие-то массы людей, веселясь и потирая себя по брюху, восторженно приветствовали его бег. И лишь небольшая кучка плакала, поднимая широко открытые рты в фиолетово-клеточное небо.

Сегодня, перечитывая последние строчки, я сказал себе: "Ладно тебе философствовать о смысле и счастье жизни для всех живущих. На воле они сами, без тебя, разберутся. А вот что самое ценное для людей здесь, в зоне? Во всяком случае, для меня высшая ценность, которая до сих пор не подвергалась девальвации, — это справедливость".

Тебе, наверное, кажется, что в неволе на пьедестале высшей ценности должна стоять свобода: и в узком смысле (как обретение мира по ту сторону колючей проволоки) и в самом широком. Так оно вроде так, но именно справедливость представляется мне неизбежным фундаментом свободы. Возможно, это потому, что справедливость образует свободу духа в ситуации внешней несвободы. Говоря проще, у заключенных любовь к справедливости естественна, так как только она помогает обрести чувство самоуважения и уверенности в условиях их жизни. Разумеется, я отлично понимаю, насколько понятие справедливости субъективно, к каким трагикомическим последствиям может привести поклонение справедливости у несправедливого от природы человека. И, кстати, заметно, что чем сильнее обида на несправедливость, тем меньше у такого человека чувство собственной вины: себя он склонен во всем оправдывать. Вот тебе анекдот на эту тему.

Один король посетил тюрьму в своем королевстве. Осматривая камеры, он знакомился с узниками и спрашивал, кто за что сидит. Все отвечали, что сидят ни за что, что они жертвы несправедливости и нет на них никакой вины. И только один сокрушенно признался, что он человек испорченный, совершил жестокое убийство из ревности и нет ему прощения.

Король повернулся к начальнику тюрьмы и распорядился:

— Сударь, освободите немедленно этого ужасного человека — ему не место среди порядочной публики, собранной в вашем заведении...

Обрати внимание на начало анекдота, на запальчивые, с искренней верой в свою невиновность утверждения уголовных преступников, что с ними поступили несправедливо. Это очень типично.

Поэтому можешь представить, какая жажда справедливости у тех, кто действительно не совершил преступления, а лишен свободы, например, по недоразумению!

Интересно, как бы поступил король, посетив не уголовную, а политическую тюрьму, и вдруг бы там перед ним брякнулась с раскаянием какая-нибудь осознавшая свою вину душа?

Как государственный муж, он, по моему мнению, должен был сказать:

— Этому, который осознал, что имел дурные намерения, надо прививать теперь мнения хорошие: пусть он пока посидит, поучится. А этих, которые действовали из благородных побуждений и не изменили им в неволе, — отпустите: сейчас так мало порядочных людей на воле, и еще меньше среди них тех, кто готов пожертвовать собой ради своих убеждений.

В последующем письме я закончу разговор, а сейчас пора ставить точку. Точка эта заключается в том, что человек может быть счастлив тогда, когда он осуществляет себя как свободная и духовная личность (конечно, и пес на хозяйской цепи счастлив, и хряк, пристроившийся к кормушке, но я говорю о счастье, которого достоин человек). Человек счастлив, когда осознает, что внешний мир не манипулирует им, не подавляет его волю, а является полем свободного приложения его сил. Человек счастлив, когда во внешнем мире его ценят не как средство, а как самостоятельную цель бытия, существо самостоятельное, исходящее из своих убеждений, подчинившее свои интересы благу це-

лого (внешнего мира). Ты понимаешь, что, говоря об образе счастливого человека, я стараюсь не упускать из виду свою ситуацию — положение в мире ээка — то, с чего я начал свое писание.

Что касается моего положения в плане не бытийном, а бытовом, то недавно был опубликован Указ об изменении в Уголовном законодательстве СССР. Я, например, теперь могу попасть на "химию"<sup>10</sup> после отбытия трех четвертей срока<sup>11</sup>. Правда, если буду там нарушать трудовую дисциплину или плохо вести себя в быту, меня вернут в лагерь отбывать заново все ту же одну четверть срока.

...Жизнь наша течет по ээковской поговорке: "Жизнь бэкова — нас бьют, а нам некого". Ты просишь писать о моем здоровье. Официально у меня зарегистрированы вроде бы: гипоацидный гастрит, кардиострофия. Остальное не суть важно: полиартрит (постоянно болит левое плечо), две паховые грыжи, геморрой. Мне ведь карточку свою не дают читать, поэтому передаю то, что удалось выудить в перемолвках у врачей. Плохо чувствую себя периодически: недели две-три терпимо, а затем снова мучают желудок и сердце: тошноты, поносы, слабость общая, боли желудка, боли в сердце, отдающие в лопатку, иногда — при умственном напряжении — боль, давящая на глаза. Аппетита нет, язык как наждак, живот раздут и тяжел, хотя ем, конечно, в этом состоянии очень мало (только завтракаю и обедаю, но не ужинаю). Когда особенно желудок допекает, приходится вообще почти не есть день-два. Ночью часто просыпаюсь от сердцебиения и гудения в ушах.

Сейчас наступает хорошая погода. Попробую приналечь на физзарядку — движения и свежий воздух, в пределах наших возможностей, конечно. Буду меньше читать и писать — попробую отдохнуть, чтоб хоть немного набраться сил. Хочется хоть на свидании выглядеть получше, чтоб не огорчить вас, как в прошлый раз, когда подвел желудок. Ты сейчас не налегай на жалобы: ведь уже заставила кое-кого из санитарного отдела обратить внимание на мое здоровье.



Отдали мне плантаглюцид — это твоя заслуга. Бутылочку уже сейчас приканчиваю — получше стало.

В общем, посмотрим. Посылка мне положена пятнадцатого июня. Что в посылку класть разрешено — ты сама знаешь. Колбасу, например, нельзя, но, может быть, грамм двести отдали бы. "Но лучше не рисковать", — подсказывают сейчас сокамерники (мы обсуждаем, что можно получить). Сало, знаешь, я не ем. Есть так называемый "рулет" — что-то вроде копченого мяса, его, может быть, пропустят. Масло с медом, но так, чтобы мед не был особенно заметен, так как мед тоже не положен. Грамм двести чеснока. Только, дорогая, смотри, чтоб не был порченный: бывает, не сразу заметишь. Можно конфеты "Товех", только без оберток, просто в целлофановом пакете; сухой апельсиновый сок; можно с полкило чищенных орехов; или ту вкусную халву, которую ты присылала в Саранск, помнишь? В общем, в таком вот плане. Как говорит китайская пословица: из кузнечика не приготовишь лягушку. Или, как говорят в нашем народе, посылка не слон: на язык положишь, за нос дернешь — и нет ее. Пять килограммов в год.

Итак, любимая, буду ждать твоего письма. Как Саша?<sup>12</sup> Я уже писал для него в прошлом письме. Пусть черкнет о себе, о свободе. Привет Рут.

Обнимаю и нежно целую  
Ваш

30 апреля 1977 г.

## Вместо заключения

Среди сокамерников Алексея Мурженко по Владимирской крытой тюрьме 1964 — 67 гг. находился Анатолий Радыгин.

Его стихи регулярно печатались в ленинградских сборниках, альманахах и газетах. В 1962 году издательство Союза советских писателей выпустило его стихотворный сборник "Океанская соль".

В том же году Анатолий Радыгин попытался нелегально бежать из СССР. Был схвачен и осужден на десять лет за "измену родине".

Из своего десятилетнего срока шесть лет он отсидел во Владимирской крытке — этом своего рода "Ордене почетного легиона" у советских политзаключенных. Уже во время его заключения (в 1971 году) в журнале "Вестник РСХД" (Российского студенческого христианского движения) появился "Венок сонетов" А.Радыгина.

В 1973 году А.Радыгин эмигрировал в США. Среди опубликованных им произведений внимание составителя привлек отрывок из мемуарной "Главы из книги" (изд. МАОЗ, Тель-Авив, 1974 г.), который и призван завершить публикацию писем А.Мурженко из лагеря особого режима на мордовской станции Сосновка.

"Только один молодой человек совсем не был подвержен тем мелким тюремным психозам, под влияние которых попадали почти все. Он не повышал голоса, его реакция была спокойной даже там, где другие взрывались неумеренной радостью или исступленной яростью. Он не торопясь, вдумчиво и остроумно отвечал на вопросы, иногда каверз-

ные. Он внимательно и со вкусом читал свои английские и мои французские книги. (Я до сих пор жалею, что на одном этапе потерял его подарок — новеллы Мериме на языке оригинала, с его остроумными заметками на полях.) Спокойно, чуть насмешливо, он реагировал на камерные скандалы, называл их "третьей кухонно-мировой войной".

С ним можно было разругаться окончательно и бесповоротно, но никогда, ни в одной ссоре он не применял запрещенных, "неспортивных" приемов. И что еще давало ему это джентльменское право — его совершенно не в чем было упрекнуть. Бурного политического прошлого или пороховой батальной одиссеи за его спиной не было, а тюремное настоящее — безупречно.

Он был поразительно хорош собой. Ни голодная пайка, ни холодные осенние сквозняки в тюрьме не могли заставить его съежиться и согнуться. Спортсмен и солдат, он сохранил от пресной шагистики и ограниченности суворовского училища только то, что заслуживало быть сохраненным. Он сохранил внутреннюю подтянутость, физическую закалку, собранность и пунктуальность — эту вежливость королей. И отличный английский язык. Он оставил за стенами казармы грубый хамский солдатский юмор, неоправданное кастовое чванство, фельдфебельскую ограниченность и, главное, великорусскую милитаристскую идеологию. Кто-то из украинцев, полушутя, заявил, что москаля-де специально сгребают в военные свои училища таких хлопцев, чтобы улучшить ихнюю породу...

Надо было видеть, как держался этот молодой человек, как на его фигуре становились ладными арестантские одежды, как он поворачивал голову на окрик, и тюремный офицер, только что вышедший из парикмахерской, в новом мундире, вдруг замечал, как он мешковат, неотесан и дурно воспитан рядом с этим голодным юношей. Когда его, небритого и наголо остриженного, проводили по коридорам, тюремщицы, надзирательницы, библиотечарши, свиданщицы, медсестры, давно потерявшие право и возмож-

ность считаться женщинами за садистскую жестокость и озверелую бессердечность, вдруг начинали растерянно суетиться и искать в карманах давно ненужные им зеркала.

И мелькнул бы Олекса Мурженко приятным и добрым воспоминанием, если бы вдруг, в конце семидесятого года, не обрушилась на нас в наших владимирских камерах весть о том, что по "самолетному делу" вместе с Кузнецовым, Дымшицем, Залмансонами и другими проходит и он...

Ну, конечно, близкие по характеру и темпераменту, по умственному развитию и знаниям, одинаково непримиримые к подлости и открытые добру — Эдуард Кузнецов и Олекса Мурженко, тоже старые камерные товарищи, — не могли не найти друг друга.

И я сам понял, и понимаю сейчас, что если бы я, выйдя из тюрьмы и не получив разрешения эмигрировать, собирался бы идти через советскую границу, то в поисках партнеров я бы непременно завернул в Ригу за Кузнецовым и в Лозовую за Аликом Мурженко. Немало процессов, в том числе еврейских, происходит в Советском Союзе. И что греха таить, попадают на скамью подсудимых не только сильные, но и слабые, жалкие люди. Мне горько и обидно слышать и читать, как они проклинают Израиль, своих вчерашних товарищей, каются и просят пощады. И не менее горько и обидно, что в моей стране, рядом с именами Кузнецова и Залмансонов, именами, достойными подражания, оплакиваются и прославляются жалкие люди. И в то же время я почти нигде не встречал, кроме узкого круга тюремных друзей, добрых слов в адрес Алика Мурженко.

Я надеюсь, что этой своей маленькой памяткой я хоть частично исполню долг перед человеком, которого я мало знал, но никогда не забуду, жизнь и дела которого я буду чтить и рассказывать о них своим детям".

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Часть первая

#### Глава I

1. Участники еврейского "самолетного дела" – попытки похищения самолета "Аэрофлота" в ленинградском аэропорту "Смольное" 15 июня 1970 года: Э.Кузнецов, руководитель группы; М.Дымшиц, пилот; Ю.Федоров, А.Мурженко, И.Менделевич, А.Альтман, Л.Хнох, Б.Пэнсон, И., В. и С.Залмансон, М.Бодня – двенадцать осужденных по делу Ленинградским городским судом. Кроме них, в побеге участвовало четыре человека, не преданных суду: жена Дымшица Алевтина с двумя несовершеннолетними дочерьми и жена Хноха – Мэри.

2. "Ксива" – в одном из значений – фальшивые документы (*жарг.*).

3. "Феня" – блатной, воровской жаргон (*жарг.*).

4. ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь.

5. Рыков А.И. – в 1924–30 гг. глава советского правительства. Казнен в 1938 г. на Лубянке.

6. Бухарин Н.И. – в 1923–29 гг. член Политбюро ЦК ВКП/б/, в 1925–29 гг. секретарь Коммунистического Интернационала, потом – гл. редактор газеты "Известия". Один из ведущих идеологов большевизма. Казнен на Лубянке в 1938 г.

7. Тухачевский М.Н. – первый заместитель наркома (министра) обороны СССР, фактический руководитель Красной Армии в 1926–37 гг. Казнен на Лубянке в 1937 г.

8. Якир И.Э. – командарм первого ранга, командующий Киевским Особым военным округом. Казнен на Лубянке в 1937 г.

9. "Слово и дело" – фраза, произносимая при аресте государственных преступников в 17-м – 18-м веках, сокращение от слов "Слово и дело государево".

10. Малюта Скуратов – руководитель тайной полиции при Иване Грозном.

11. Вик – Виктор Балашов, о нем см. ниже.
12. Вера Фигнер и Николай Морозов – русские террористы, члены Исполнительного Комитета "Народной воли". Отсидели в тюрьмах свыше двадцати лет, оставили интересные мемуары.

## Глава 2

1. Любонька и Анютка – жена и дочь А.Г.Мурженко.
2. "Четвертак" – 25 лет заключения (*жарг.*).
3. "Расход" – "расходимся, конец" (*жарг.*).
4. "Кормушка" – открывающееся и закрывающееся отверстие в двери, через которое надзиратели передают в камеры пищу, тюремный библиотекарь – книги, и т. д. (*жарг.*).

## Глава 3

1. "Приключения Нила Кручинина" – цикл рассказов о сыщике-гебисте Н.Шпанова; "Рассказы о майоре Пронине" – сочинение Л.Овалова.
2. "Тасоваться" – ходить взад и вперед (*жарг.*).
3. Статья 70-я, часть 1-я, Уголовного кодекса Российской советской федеративной социалистической республики (УК РСФСР) предусматривает наказание за "агитацию и пропаганду, проводимую в целях подрыва или ослабления советской власти" – от полугода до семи лет заключения в лагерях особого режима с последующей ссылкой до пяти лет или без таковой. Статья 72-я Уголовного кодекса предусматривает наказание за *групповые* действия при совершении всех особо опасных государственных преступлений, в том числе – за групповые действия агитационно-пропагандистского характера.
4. Виктор Балашов (он же упоминавшийся выше "Вик") – выпускник суворовского училища, сокурсник А.Мурженко по Московскому финансовому институту и организатор подпольного "Союза свободы разума". Во время отбытия лагерного срока бежал (см. ниже), за что был осужден дополнительно на три года. После освобождения в 1972 году выехал из СССР. Ныне живет в США.
5. "Ксива" – в данном контексте записка, нелегально передаваемая в заключение из камеры в камеру (*жарг.*).
6. "Менты" – работники Министерства внутренних дел и милиции (*жарг.*).

## Глава 4

1. Институт Сербского – Московский институт судебной психиатрии им. проф. В.П.Сербского, главное учреждение по делам психиатрической экспертизы КГБ СССР и МВД (Министерства внутренних дел).

2. Лунц Д.Р. – профессор института судебной психиатрии, в 50-е – 70-е гг. главный эксперт-психиатр по делам КГБ СССР.

3. Заинтересованность юридических инстанций в появлении на суде адвокатов объясняется не гуманностью, а тем обстоятельством, что практически почти все адвокаты с “допуском” к защите по делам КГБ считаются заключенными “карманными”, т. е. КГБ “вынимает их из своего кармана”; они, по существу, помогают КГБ в безупречном проведении судебной комедии и защищают не столько подзащитного, сколько “интересы советского общества”, т. е. обвинения.

4. “Фарцовщики” – прозвище людей, нелегально покупающих у приезжающих в СССР иностранцев и перепродающих предметы одежды и другие мелочи.

5. “Стиляги” – в 50-е – 60-е гг. прозвище молодых людей, подражавших западному стилю одежды, танцев, развлечений и т. д.

6. “Интурист” – название единственной в СССР организации, обслуживающей иностранных туристов.

## Глава 5

1. Несомненный намек на повесть классика русской советской прозы А.Платонова “Котлован” – об ужасах насильственной коллективизации крестьян в 1929–31 гг. Роман не был опубликован в СССР и до сих пор находится под цензурным запретом. По рассказу его “подельника” по “самолетному делу” 1970 г. Эдуарда Кузнецова, Алексей Мурженко прочитал “Котлован”, когда знакомился с материалами следствия в октябре 1970 г. (при закрытии дела и его подписании заключенным). “Котлован”, как и другие “самиздатские материалы”, был изъят гекбистами на обыске у Э.Кузнецова и приобретен к делу. Мурженко использовал свои процессуальные права при чтении дела и, несмотря на протесты следователя, прочитал весь находившийся в деле самиздат, в том числе и “Котлован” А.Платонова.

2. “Краснопогонниками” называют солдат и офицеров внутренних войск (войск Министерства внутренних дел СССР) за алый цвет погон.

3. “Воронок” – народное название автомашин для перевозки заключенных (официальное название – “автозак”). Помимо ка-

меры для охраны, в этой автомашине размещена так называемая "общая камера" и два боксика-одиночки (примерно 60х60 см площадью), называемые заключенными "стаканами". В одном из "стаканов" и перевозили Мурженко. В 30–40-е годы "автозаки" были выкрашены в черный цвет, за что и получили свое название "воронок".

4. "Тройник" – единственная маленькая камера в "столыпинке", с тремя полками (отсюда название). Используется для перевозки-этапирования заключенных, которых почему-либо полагается отделять от основной массы эзков: политических, иностранцев, смертников и т. д.

5. Видимо, под "заварухой" подразумевается восстание в Иранском Азербайджане в 1946 г., инспирированное Советским Союзом. Оно было легко подавлено тогдашним шах-ин-шахом Мохаммедом Реза Пехлеви.

6. "Малолетка" – исправительно-трудовая колония для малолетних преступников.

7. Норильск – город за Полярным кругом, центр знаменитых лагерей.

8. БУР – барак усиленного режима, внутрелагерная тюрьма для наказания нарушителей лагерного режима (сроком до полугода). В настоящее время называется ПКТ – помещение камерного типа.

9. ШИЗО – штафной изолятор, карцер.

10. "Крытка" – тюремное, а не лагерное заключение (*жарг.*). О наказании "крыткой" см. ниже.

11. "Мужик" – заключенный, не состоящий в воровском, блатном мире.

12. "Понт" – в данном контексте "выгода" (*жарг.*).

13. "Козлы" – они же "стукачи", т. е. ээки, негласно сотрудничающие с оперативной частью лагеря. Название дано по аналогии их функций с функциями козлов, выводящих на бойнях стада овец и коз под ножи мясников.

14. "Беспредел" – произвол, нарушение даже воровских "порядков".

15. "Суки" – воры-реформаторы, требовавшие отказа от воровского закона, запрещающего работать в местах заключения.

16. "Фраера" – лица, не принадлежащие к воровской среде. В данном контексте – преступники, не признанные своими в уже сложившемся преступном уголовном мире.

17. "Воровская идея" – отказ от любой работы, в том числе в местах заключения.

18. 58-я статья Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего с 1927 до 1958 гг., предусматривала наказание за все государственные преступления.



19. "Ус" – так называли заключенные в лагерях И.В.Сталина.
20. Из стихотворения М.Ю.Лермонтова "И скучно, и грустно".
21. Данко – персонаж цыганской легенды в рассказе М.Горького "Старуха Изергиль".
22. Апис (от древнеегипетского Хапи) – священный бык.

## *Глава 6*

1. Юрий Федоров – "подельник", т. е. сопроцессник А.Мурженко по первому делу (1962 г. – "Союз свободы разума") и по второму – "самолетному делу" 1970 г. Приговорен в общей сложности к 20 годам заключения.

2. Уже упоминавшийся Виктор Балашов.

3. "Глухарь" – человек, осужденный на максимальный срок лишения свободы и не подлежащий при этом, согласно инструкциям и указам, никаким "льготам" по сокращению срока заключения или облегчения режима содержания в лагере.

4. "Монтень" – по сообщению А.Рафаловича, лагерная кличка выпускника философского факультета Ленинградского университета Михаила Молоствовова. Он был арестован и осужден по ст. 58, пп. 10, 11 (антисоветская агитация и пропаганда, групповые действия) в 1958 году вместе с подельниками – Гараниным и Козловым. Срок М.Молоствовова – 7 лет лагерей строгого режима. После освобождения М.Молоствовов преподавал в сельской школе (его "Рифмованные мысли и размышления", опубликованные в израильском журнале "22", № 16, были написаны в селе Рвы Псковской области). Последний подписанный им документ, известный на Западе, – Открытое письмо в защиту Татьяны Великановой ("Архив самиздата", 3873, 8 декабря 1978 года) указывает, что местожительство Молоствовова – г. Ленинград.

5. "Полицаи" – люди, осужденные за сотрудничество с гитлеровской администрацией во время войны.

6. Зона особого режима в Сосновке, где Алексей Мурженко отбывал свой второй срок, находилась в бывшем здании барака усиленного режима, том самом, которое в 1962 г. строила бригада, куда входил М.Молоствовов.

7. Слова принадлежат Ивану Денисовичу, персонажу повести А.И.Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

8. Повесть А.И.Солженицына впервые была напечатана в журнале "Новый мир", № 11 за 1962 год.

9. Театр "Современник" в 60-е годы считался оплотом новаторского и свободомыслящего искусства в Москве. Художественным руководителем его был О.Ефремов.

10. Согласно указу "Об усилении мер наказания за хищение социалистической собственности", принятому в начале 30-х гг., нередко приговаривались к многолетнему лагерному заключению дети крестьян, подбиравшие в поле колоски, оставшиеся там после уборки урожая.

11. Имеется в виду XX съезд КПСС (1956 г.), на котором Н.С.Хрущев, тогдашний первый секретарь ЦК КПСС, прочитал секретный доклад "О культе личности Сталина", положивший начало открытому разоблачению преступлений власти и органов безопасности в эпоху правления И.В.Сталина.

12. Запретная зона – полоса вспаханной земли с рядами колючей проволоки (иногда и спиралями Бруно), окружающая со всех сторон территорию лагеря. Запретная полоса просматривается с вышек часовыми и служит для заключенных линией границы зоны.

13. Секция внутреннего порядка – организация "лагерного самоуправления", фактически своеобразная внутрилагерная вооруженная полиция из заключенных, сотрудничающих с администрацией.

14. Вахта – помещение при входе в лагерь, где обычно собираются "контролеры по надзору за порядком" – надзиратели.

15. "Чифирнуть" – от "чифирь", крепко заваренный чай или кофе, любимое лагерное лакомство (*жарг.*).

16. Те или иные продукты запрещаются Министерством внутренних дел СССР к употреблению в зонах на основании того, находятся ли они "на свободе" в дефиците или избытке. Именно "дефицит" по эту сторону колючей проволоки, "на воле", делает продукт запретным в зонах. Поэтому в лагерях 60-х гг., например, когда Мурженко отбывал первый срок, был запрещен чай и разрешен кофе, а в 70-е годы, во время его второго срока, наоборот: разрешен чай, а запрещен кофе.

17. Кропоткин П.А. (1842 – 1921) – князь, крупный русский ученый-географ и один из самых значительных идеологов мирового анархизма. Отвергая государство, Кропоткин выдвигал в качестве общественного идеала ассоциацию общин производителей, живущих коммунами.

18. Бакунин М.А. (1814 – 1876) – виднейший идеолог мирового анархизма, проповедник неограниченной революции. Ему, в частности, принадлежит знаменитое изречение: "Страсть к разрушению есть в то же время страсть созидательная".

19. В мае – июне 1957 г. в Ленинграде была арестована группа "Союз коммунистов", возглавляемая студентом педагогического института им. Герцена Виктором Трофимовым (по делу были арестованы, кроме Трофимова, студенты Томсков, Голиков, Пустынцев, Малыхин, Потапов, Петров; остальные члены группы получили ад-

министративные взыскания: исключены из институтов и т. д.). По этому же делу в Москве были арестованы "красные волки" – Тельников и Хайбуллин, называвшие свое отделение "Союзом революционного ленинизма". Судили их в сентябре 1957 г.: Трофимов, Томсков, Пустынцев, Малыхин, причастные к изготовлению и распространению листовок, были приговорены к 10 годам заключения в мордовские лагеря; Тельников получил 6 лет, Хайбуллин – 5, Потапов и Петров – по 3 года. Многие участники группы отбывали срок в одном лагере с Мурженко (см. ниже в тексте). Их дальнейшая судьба такова: Трофимов, Голиков, Малыхин освободились по помилованию в сентябре – октябре 1963 г. – после XXII съезда КПСС, когда они посчитали морально оправданным пойти на компромисс с властью, еще раз решительно осудившей преступления Сталина. Вскоре после освобождения Малыхин покончил с собой. Тельников, Хайбуллин, Потапов освободились по концу срока. Тельников (лагерное прозвище "Комоди") эмигрировал в Лондон в 1971 г. Хайбуллин стал клириком русской православной церкви и ныне известен в публицистике самиздата под именем иеродиакона Варсонофия. Пустынцев был освобожден досрочно по ходатайству отца – лауреата Ленинской премии. Петров после освобождения раскаялся и даже вступил в КПСС.

20. Краснопевцев Лев Николаевич, член КПСС, аспирант-историк Московского университета, секретарь университетского комитета комсомола, был арестован 30 августа 1957 г. как руководитель подпольной организации "Союз патриотов России". Был приговорен к 10 годам лишения свободы в мордовских лагерях строгого режима. Одновременно с ним были осуждены участники "Союза" А.Рендель (срок – 10 лет), В.Меньшиков (10 лет), Н.Обушенков, М.Чешков (впоследствии кандидат наук, специалист по истории Вьетнама), М.Гольдман, М.Семиненко и Н.Покровский. Бывший заключенный "Дубровлага" и соучастник этих людей Ан.Рубин сообщил нам, что 7 июня 1967 г. газета мордовских лагерей "За отличный труд" опубликовала за подписью Л.Краснопевцева статью "Выступление против партии есть измена коммунизму и революции". Аналогичную статью напечатал в лагерной газете и поделник Л.Краснопевцева В.Меньшиков. Л.Краснопевцев одно время был также председателем совета коллектива колонии, т.е. главой лагерного самоуправления, "главсукой", по терминологии эзков. После освобождения (он все-таки отбыл полный срок – 10 лет) его вознаградили за "хорошее поведение", как "твердо вставшего на путь исправления", разрешением на прописку в Москве. Видимо, этим и объясняется четкое противопоставление группы ее лидеру в письме А.Мурженко.

21. Сергей Пирогов (1931 г.р.) окончил политэкономический факультет Ленинградского университета в 1955 г. Был осужден в 1957 году на 8 лет (вместе с ним был осужден участник его кружка Олег Тарасов), который отбыл полностью. Вторично осужден за "клевету на советский строй" в 1973 г. (2 года). В 1976 г. выехал на Запад, живет в ФРГ (в Мюнхене).

22. В подлиннике письма А.Мурженко была описка: В.Дутко назван Дудко.

23. Милован Джилас — один из лидеров Коммунистической партии Югославии, в прошлом — секретарь ее ЦК, член Политбюро, вице-президент Социалистической Федеративной республики Югославии. С середины 50-х гг. стал одним из первых "диссидентов"-коммунистов, опубликовал книгу "Новый класс", разоблачавшую перерождение компартий в правящее бюрократическое сословие; неоднократно сидел в югославских тюрьмах.

24. По справке А.Рафаловича, Владимир Дутко (1933 г.р.) прибыл в зону из Львова, отсидел 7 лет и вышел по концу срока в 1963 г.

25. Кузнецов Э. (1939 г.р.), соузник А.Мурженко по первому сроку (он отбывал в Мордовии 7 лет в 1962—69 гг.) и его же сопроцессник ("поделщик") по второму "заходу": он возглавлял группу, пытавшуюся захватить самолет для бегства в Израиль в июне 1970 г. Обмененный вместе с четырьмя другими политзаключенными на двух советских шпионов, захваченных с поличным в США, он был выдворен из СССР и лишен советского гражданства в 1979 г., отбыв в общей сложности 16 лет лагерного срока. Был научным сотрудником Тель-Авивского университета, в настоящее время работает в ФРГ (заведующий отделом новостей радиостанции "Свобода").

26. Галансков Ю. (1937 г.р.), московский поэт, член Национально-Трудового Союза солидаристов (партии русской политической эмиграции). В 1967 г. осужден (вместе с А.Гинзбургом) на 7 лет заключения в Мордовии. Скончался после операции в лагерьной больнице (язва желудка).

27. Гинзбург А. — редактор нелегального литературно-художественного журнала "Феникс". Осужден дважды: первый раз в 1967 г. (вместе с Ю.Галансковым, В.Лашковой и А.Добровольским) за выступление в защиту арестованных писателей А.Синявского и Ю.Даниэля и за редакторскую деятельность. После отбытия срока возглавлял Фонд помощи политзаключенным СССР (иначе "Солженицынский фонд") и, как руководитель Фонда и член Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений 35 государств Европы и Северной Америки, был осужден в 1978 г. вторично. Одновременно с Э.Кузнецовым (см. выше) и другими был обме-

нен в 1979 г. на двух советских шпионов. В настоящее время живет в Париже, общественный деятель.

28. Осипов В. (1938 г.р.) – был арестован по одному делу с Э.Кузнецовым в 1961 г. (см. ниже, примечание 31), осужден на семь лет, которые отбыл в Мордовии. В начале 70-х гг. стал лидером диссидентского движения "русских патриотов", редактировал журналы русских патриотов-националистов "Вече" и "Земля". За редакторскую работу арестован и осужден в 1975 г. на 8 лет заключения. После освобождения живет в России. Отбыл в общей сложности 15 лет.

29. Бокштейн И. (1937 г.р.), поэт. В 1961 г., будучи студентом института культуры, был осужден вместе с Э.Кузнецовым и Вл.Осиповым за пропагандистские выступления перед молодежью на площади Маяковского в Москве. Отбыл в Мордовии пятилетний срок. Репатриировался в Израиль в 1972 г.

30. Буковский В. (1944 г.р.) – участник собраний и митингов молодежи на площади Маяковского в Москве. Впоследствии получил международную известность как один из самых видных диссидентов 60–70-х гг., прежде всего как инициатор разоблачения использования психиатрии в качестве внесудебной репрессии против правозащитников. Многократно арестовывался, подвергался заключению в спецпсихолечебницах и обычных лагерях и тюрьмах. В 1976 г. был обменен советским правительством на арестованного в Чили правительством генерала Пиночета генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана. Эмигрировал в Великобританию, где завершил прерванное арестом биологическое образование. Получил широкую известность как публицист, автор нескольких книг, переведенных на многие языки.

31. В этом месте письма А.Мурженко делает ошибку, пересказывая версию, которую обвиняемые на процессе Э.Кузнецов, В.Осипов и И.Бокштейн повторяли вслух на суде и после суда. На самом деле, как теперь стало известно из признаний как Э.Кузнецова, так и В.Осипова, они действительно летом 1961 г. совместно с А.Ивановым-"Новогодним"-Скуратовым", руководителем заговора, и Ременцовым, предполагаемым исполнителем, планировали покушение на Н.С.Хрущева, главу советского правительства, в дни так называемого Берлинского кризиса 1961 г.: они опасались, что неконтролируемый "взрыв" советского премьера может вызвать третью мировую войну. Когда Берлинский кризис мирно разрешился, план покушения был отменен и остался в стадии разговоров и "прикидок". Поэтому обвиняемых на процессе судили по ст. 70-й (антисоветская агитация и пропаганда), а не за террор.

32. Каптерка – склад вещей заключенных в лагере.

33. "Шмонают" – обыскивают (*жарг.*).

34. Швед Кирилл Яковлевич – имя этого старшего надзирателя в лагерях "Дубровлага" 50–60-х гг. не раз упоминалось в так называемой "лагерной" литературе. См., например, книгу А. Марченко "Мои показания" или "Дневники" Эдуарда Кузнецова.

35. По справке Э. Кузнецова, А. Мурженко ошибается в дате побега – он состоялся не в феврале, а 20 марта 1963 г.

36. Вот участники побега, по сведениям Эдуарда Кузнецова:

а) Виктор Балашов;

б) Виктор Зайцев, инициатор побега (1930 г.р.), бывший суворовец, осужденный по 58-й ст. на 25 лет лишения свободы, до этого побега уже четыре раза пытался бежать. Освободился в 1972 г. Дальнейшая его судьба неизвестна;

в) Бондаренко Анатолий (1935 г.р.), тоже бывший суворовец, осужден в 1958 г. по ст. 58-й УК РСФСР на 10 лет заключения. Во время побега отморозил три пальца на ноге, которые потом ампутировали. К 10 годам основного срока ему по суду добавили 3 года за побег. Освободился в 1971 г.;

г) Тарасевич Геннадий, осужден в 1957 г. за попытку побега за границу на 10 лет лишения свободы. Во время побега отморозил и потерял два пальца. Освободился досрочно. В 1980 г. выехал в США;

д) Тупицын Виктор (карел), в 1958 г. бежал в Финляндию, был выдан финским правительством Кекконена и осужден на 10 лет за "измену родине". Филолог, окончил Петрозаводский университет. Виктор Тупицын получил добавочные 3 года за побег с отбыванием их во Владимирской тюрьме и освободился после 13 лет заключения в 1971 г.

37. Особый режим содержания заключенных отличается от строгого режима прежде всего тем, что заключенные содержатся не в бараках, откуда в свободное от работы и прочих мероприятий время можно выходить на свежий воздух, общаться на улице с товарищами и т. д. Заключенные же на особом режиме находятся в запертых камерах. Кроме того, на особом режиме значительно хуже питание, в два раза меньше свиданий и писем, разрешенных к отправке, и много других, менее значительных, но ущемляющих заключенных в самых уязвимых пунктах ограничений.

38. Одно из таких ограничений – в одежде: заключенные на строгом режиме носят серые, "мышинные" робы, брюки и бушлаты, а заключенные особого режима должны носить полосатую одежду, которая сразу бросается в глаза.

## Глава 7

1. По справке Эдуарда Кузнецова, Мурженко, видимо, имел в виду Бориса Сосновского (1932 г.р.), сидевшего в мордовских лагерях 7 лет (1958–65 гг.) по обвинению в антисоветской пропаганде, математика-прикладника из Новосибирска.

2. Б.С., видимо, имел в виду неоднократные выступления В.И.Ленина против так называемого "Пролеткульта" – организаций, пытавшихся создать "пролетарскую культуру".

3. Имеется в виду В.И.Ленин (см., например, его заметки на книгу Н.Суханова).

4. Левиафан – образ всеохватывающего гигантского государства (в ивритской литературе – легендарная "рыба-кит"), заимствованный из книги английского мыслителя Т.Гоббса "Левиафан".

5. По мнению Анатолия Рубина и Михаила Шнайдера, тогдашних заключенных лагеря ЖХ 385-7, имеется в виду Виктор Трофимов, вышеупомянутый руководитель ленинградского "Союза коммунистов".

6. "Оттепель" – название популярной повести И.Эренбурга, которое в 50-60-х гг. употреблялось для обозначения периода "либерализации", наступившего после XX съезда КПСС.

7. Как видно из дальнейшего текста – Виктор Балашов, "подельник" А.Мурженко.

8. Шахтер Алексей Стаханов и трактористка Прасковья Ангелина – в свое время прославленные зачинатели так называемого "стахановского движения на производстве" (за повышение норм выработки при той же оплате труда).

9. Синявский А.Д. – писатель, литературовед, профессор Литературного института в Москве. В 1967 г. был осужден на 7 лет лагерей за публикацию повестей и рассказов за границей под псевдонимом Абрам Терц (его "подельником" был писатель, поэт и переводчик Ю.Даниэль, осужденный на 5 лет заключения, отбывал их в 17-м лагере в Мордовии). После досрочного освобождения А.Синявский эмигрировал в Париж, где стал профессором русской литературы в Сорбонне. Редактирует журнал "Синтаксис". Лауреат многих международных премий по литературе, полученных за книги, написанные в эмиграции.

10. Группа Ронкина – Хахаева – арестованная в июне 1965 г. группа ленинградцев социал-демократического направления. Руководитель группы – старший научный сотрудник Ронкин Валерий Ефимович (1936 г.р.) осужден на ст.ст. 70 ч. 1 и 72 (антисоветская агитация и пропаганда, групповые действия) на 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки. После отбытия срока живет в г. Луга Ленинградской области.

Хахаев Сергей Дмитриевич (1938 г.р.), выпускник Ленинградского Технологического института, статьи и срок те же, что у Ронкина. Другие осужденные члены группы: Гаенко Владимир Николаевич (1937 г.р.) осужден на 4 года, Мошков Сергей Николаевич (1937 г.р.) – срок 4 года, Смолкин Валерий Мануйлович (1940 г.р.) – 3 года, Чикатуева Валерия Иннокентьевна (1939 г.р.) – 3 года, Климанова Людмила Васильевна (1939 г.р.) – 2 года, Зеликсон Борис Малкиэлевич (1934 г.р.) – 3 года.

11. Группа Л.Лукияненко – в 1962 г. была арестована группа, называвшая себя "Украинский рабоче-крестьянский союз". Руководитель группы Лев Лукияненко, юрист, был приговорен к смертной казни, замененной 15-летним заключением в лагерях особого режима. В программе группы – проведение конституционного референдума по вопросу об отделении Украины от Советского Союза. После окончания срока Л.Лукияненко включился в работу украинских национал-демократов 70-х гг. и в 1979 г. осужден на 10 лет лагерей особого режима с последующей пятилетней ссылкой как член Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений 35 стран Европы и Северной Америки. В настоящее время отбывает 22-й год из своего 30-летнего срока в лагере особого режима в Пермской области на Урале.

12. Группа Квецко – Красивского – называла себя "Украинским национальным фронтом". Ее руководители – Квецко Дмитрий (1935 г.р.), выпускник Львовского университета, учитель украинской литературы на Ивано-Франковщине, основной теоретик и публицист группы, редактор ее журнала "Воля и Батькивщина" ("Свобода и родина", вышло 12 номеров). Осужден в 1967 г. на 15 лет заключения (в том числе – 5 лет тюрьмы) с последующей пятилетней ссылкой; сейчас отбывает ссылку; Красивский Зиновий (1929 г.р.), выпускник филологического факультета Львовского университета; сосланный после войны в Казахстан как "чсир" ("член семьи изменника родины"), бежал на Украину, за что был осужден на пять лет заключения с последующей ссылкой. Попав в обвал на шахте и став инвалидом 2-й группы, получил возможность вернуться из ссылки на Украину. В 1967 г. по делу "Украинского национального фронта" осужден на 12 лет заключения (из них 5 – тюремного) с последующей ссылкой на 5 лет. Во Владимирской тюрьме тайно написал и издал на Западе свои стихи, за что был осужден на лечение в Смоленской спецпсихбольнице (потом – в Сычевской). После освобождения вступил в Украинскую Общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений, за что осужден в третий раз. В настоящее время – в заключении. З.Красивский был товарищем А.Мурженко во время пребывания того во Владимирской крытой тюрьме.



13. Группа Гринько – кто имеется в виду, не установлено.

14. А.Мурженко называет украинскими "шестидесятниками" поколение украинской интеллигенции, национально и социально пробудившееся в начале 60-х гг. Одним из самых ярких и первых ее представителей был известный поэт В.Симоненко. Видными идеологами и публицистами этого движения были В.Чорновол, журналист, автор известной книги "Горе от ума"; В.Мороз, публицист, автор знаменитого "Репортажа из заповедника имени Берия"; М.Осадчий, комсомольский работник, автор повести "Бельмо"; литературовед Н.Горбаль и многие другие. Активисты этого движения попали под репрессии КГБ в 1965 году (так называемый "покос шестьдесят пятого года"). Наиболее полный отчет об этих репрессиях – в сборнике "Украинская интеллигенция под судом КГБ", изд. "Сучасність", Мюнхен, 1970 г.

15. Видимо, имеются в виду активисты Национальной Объединенной партии Армении – Степан Затикян (впоследствии казненный), Гайк Хачатрян, Паруйр Айрикян и др. Партия, ставившая своей целью выход Армении из СССР, была основана после организации армянскими активистами стотысячной демонстрации в Ереване у памятника жертвам турецкого геноцида 1915 года (демонстрация произошла в 1965 г.).

## Глава 8

1. Кузнецов Эдуард.

2. Эзопов намек на голодовку с требованием об отправке писем семье (факт подтвержден Э.Кузнецовым).

3. Письмо было написано в лагере особого режима, где А.Мурженко отбывал второй срок по приговору суда как "рецидивист".

4. По справке Э.Кузнецова – Уманский Александр из Ленинграда, отсидевший 5 лет по ст. 70 (пропаганда). Ныне живет в Ленинграде, делает надписи на кладбищенских надгробьях.

5. Э.Кузнецов сообщил, что это – популярная эковская байка.

6. Юнец – видимо, Вл.Шакалис (1942 г.р.), отбывал срок в 1961–65 гг. (4 года), потом сидел вторично в 70-е гг. Принимал активное участие в литовском правозащитном движении (его подпись стоит под многочисленными документами правозащитного характера). В 1980 г., узнав о готовящемся новом аресте, он бежал из СССР и после десятидневного перехода через Финляндию, которая выдает беглецов обратно в СССР, сумел пробраться в Швецию.

7. "Личность" – Кузин Евгений, в 1958 г. был осужден на 10 лет (агитация и пропаганда), но по помилованию вышел через 7 лет (в 1965 г.). В августе 1973 г. осужден вторично (так называ-

емая "орловская группа" – по делу вместе с ним прошли О.Савинкин и А.Егоров) на 4 года лагеря и 2 года ссылки. Освободился и в этот срок досрочно.

8. Чирков Ю. неизвестен. В "Списке политзаключенных СССР" под редакцией К.Любарского упомянут некто Н.Черков – возможно, это он.

9. "Доходил" – заболел дистрофией (*жарг.*).

10. По сведениям Э.Кузнецова, Ж. освободился в 1976 г. и снова сел.

11. 101-й километр от крупных центров – официальная черта высылки, как правило, распространяемая на бывших заключенных.

12. "Черная площадь" – Красная площадь перед Московским Кремлем, место официальных советских парадов и демонстраций.

13. "Тихушники" – оперативные работники (*жарг.*).

14. ГУМ – здание огромного магазина на Красной площади в Москве, напротив Кремля.

## Часть вторая

### Глава 1

1. Видимо, у Святослава Караванского, "патриарха" мордовских лагерей особого режима (он отбыл в заключении примерно 35 лет).

2. Так как заключенным особого режима разрешено писать лишь одно письмо в месяц, то А.Мурженко был вынужден отвечать своим корреспондентам через единственного адресата – жену.

3. Виктор Балашов в это время уже эмигрировал в США.

4. По предположению Э.Кузнецова, это Сергей Троицкий, отбывавший заключение в 1962–68 гг.

5. Фамилию и данные установить не удалось.

6. Надзиратель "Рыжий" – фигура, упоминаемая в "лагерной" литературе (см., например, у Ан.Марченко "Мои показания", изд. "Посев", стр. 165).

7. По сведениям Э.Кузнецова, во Владимирской тюрьме в это время сидел азербайджанец по имени Тимур. В книге Ан.Марченко упомянут азербайджанец Игал-оглы. Возможно, это имя и фамилия принадлежат одному и тому же человеку.

8. "Квиток" (от "квитанция") – заявление-расписка на отоваривание продуктами в тюремном ларьке. В "квитке" заключенный указывает название и количество приобретаемых им продуктов.

9. "Самолет" – настил из сбитых досок, выдаваемый для сна на ночь в карцере (*жарг.*).

10. "Самадхи" – в терминологии йогов "просветление духа".

## Глава 2

1. Сейчас пришло новое поколение уголовников, извергнутое своей средой, это ее худшие подонки, почти все они развращены до основания – наркоманы, гомосексуалисты, фуфлыжники и проч. (*примечание А.Мурженко*).

2. Эдуард Кузнецов уточняет данные о "Шовинисте", приводимые в письме А.Мурженко. Это некто Михаил Маслов (1927 г.р.), который в 1965 г. сделал попытку перехода границы из СССР в Китай и был осужден за "незаконный переход границы" (ст. 83 УК РСФСР). В уголовном лагере, где отбывал срок, получил новый приговор в 1968 г.: 10 лет за распространение в зоне "антисоветских листовок"; освобожден в 1975 г.

3. Отдал на "общак" – отдал в общее пользование всей камеры (*жарг.*).

4. "Мастырка" – уловка для симуляции заболевания (*жарг.*).

5. Александр Фельдман, составитель и автор примечаний к настоящей книге. А.Мурженко намекает в письме, что А.Фельдман сам был узником советских лагерей (1973–77 гг.) как активист еврейского сопротивления в Киеве.

6. Корреспондентка А.Мурженко из Израиля.

7. Ева Бутман – жена Г.Бутмана, осужденного по так называемому "Второму ленинградскому еврейскому процессу". В это время он находился во Владимирской крытой тюрьме, а жена его, Ева, написавшая письмо А.Мурженко, с 1973 г. жила в Израиле. В настоящее время – в Иерусалиме.

8. "Тетушка Ширли" – Ширли Чисхольм, член конгресса Соединенных Штатов Америки в 1974–78 гг., "шефствовала" над А.Мурженко.

## Глава 3

1. "Толковище" – воровская сходка для разбора конфликтов между "ворами в законе" (*жарг.*).

2. Несомненно, Данило Шумук, старейший политзаключенный "Дубровлага" (в тюрьмах Польши и Германии сидел как коммунист, а в советских лагерях – как украинский националист). Сейчас – в ссылке.

3. Вероятно, Бабич Сергей Алексеевич (1939 г.р.). После от-

бытия первого срока этот украинский политзаключенный был вновь осужден (13 декабря 1976 г.) на 15 лет особого режима, из них первые пять лет – тюремного заключения, формально – за незаконное хранение оружия, а фактически – за попытку бежать из СССР. На это и намекает в своем письме А.Мурженко (“румынская граница”).

4. Лица, упомянутые здесь, находились тогда за пределами СССР:

Клара Гильдман, участница правозащитного движения в СССР. В ноябре 1976 г. выехала в Израиль.

Виктор Радуцкий, преподаватель, переводчик, журналист. Выехал в Израиль в сентябре 1976 г.

Майя Каганская (Брусилловская), литературовед. Выехала в Израиль в сентябре 1976 г.

Сильва Залмансон, участница “самолетного дела”, осуждена на 10 лет заключения, освобождена досрочно и выпущена в Израиль.

Рут Офер, уже упомянутая выше корреспондентка А.Мурженко из Израиля.

## Глава 4

1. “Спец” – лагерь особого режима (*жарг.*).

2. А.Мурженко вспоминает о голодовке протеста в лагере.

3. В лагере особого режима заключенные занимались шлифовкой стекла для подвесок к так называемым “хрустальным” люстрам.

4. Заработанные деньги не выдавались заключенному на руки сразу, а клались на лицевой счет в МВД вплоть до его освобождения: таким образом, зэк как бы кредитует МВД на весь срок приговора.

5. 10-я зона в пос. Леплей (“Дубровлаг”, Мордовия) была до 1972 г. лагерем особого режима для политзаключенных.

6. А.Мурженко пишет об упраздненных порядках. С марта 1978 г. труд для инвалидов 2-й группы в лагерях стал обязательным, и почти все льготы, полагавшиеся до тех пор, отменены.

7. Советские средства информации не сообщали, что Л.Корвалан был обменен на советского узника совести Вл.Буковского. Поэтому А.Мурженко не знал об этом.

8. По справке Э.Кузнецова, это – Ю.Федоров.

9. А.Мурженко намекает на прозвище “полосатый” или “полосатик”, данное обитателям лагерей особого режима за полосы на их каторжных формах.

10. Норман Мейлер, американский писатель. Его роман о войне “Наше и мертвые” был в сокращенном русском переводе издан Воениздатом в Москве. А.Мурженко, видимо, имел в виду именно

этот роман Мейлера. Василь Быков и Юрий Бондарев – советские писатели, получившие известность романами и повестями о войне.

## Глава 5

1. Э.Кузнецов и Ю.Федоров – “подельники” А.Мурженко.
2. Поэт Ф.И.Тютчев.
3. В 1977 г. в лагере особого режима в Сосновке (“Дубровлаг”) происходили ожесточенные столкновения между украинскими диссидентами. Подавляющему большинству украинского землячества, возглавляемому старейшим политзаключенным Д.Шумуком, противостоял видный публицист украинских национал-демократов В.Мороз (его поддерживал И.Гель). В ходе столкновений Д.Шумук написал письмо родным, крайне резко характеризующее Мороза, которое, пройдя цензуру, стало известно гебистам и было использовано ими при публикации статьи в украинской прессе, порочившей не только В.Мороза, но и всех заключенных на “спецу”.
4. Данило Шумук.
5. Несомненно, это “абстрактное” рассуждение отражает мысли А.Мурженко по поводу конфликтов 1976–77 гг. на “спецу” между В.Морозом и группой Шумука (см. выше). Как явствует из текста, А.Мурженко хотел намеками, в обход цензуры, показать, что согласен в принципе с оценками Д.Шумука.
6. Крысбой – римский центурион, персонаж романа М.Булгакова “Мастер и Маргарита”.
7. Заключенный Волобуев умер от туберкулеза. Об этой смерти и произведенном ею впечатлении писал также Э.Кузнецов в “Мордовском марафоне”.
8. Условные имена К. и Трус – придумано, несомненно, в цензурных соображениях, как в последующем тексте – китайские имена. Возможно, под К. подразумевается Карл Маркс с его афоризмом: “В чем счастье жизни? В борьбе”. Трус, видимо, произведен от английского слова “truth” – правда, что должно пояснить читателю, на чьей стороне симпатии А.Мурженко в споре о счастье.
9. Площадь в Пекине, где выступают руководители коммунистического Китая.
10. “Химией” заключенные называют “условно-досрочное освобождение с обязательным привлечением на стройки народного хозяйства”: эта мера наказания фактически представляет замену части лагерного срока формой ссылки под гласный надзор милиции в те районы страны, где существует особая нужда в рабочих руках, не удовлетворяемая за счет вольнонаемных рабочих. Название получила потому, что первыми стройками, куда стали направлять заключенных

из лагерей, стали крупные химические комбинаты. "Химики" обязаны жить в казармах-"общежитиях" и работать в указанном месте и на указанной работе.

11. До Указа 1977 г. на политзаключенных вообще не распространялись никакие сокращения сроков.

12. А.Фельдман.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора	5
Предисловие	9
Часть I	
Глава 1	15
Глава 2	30
Глава 3	37
Глава 4	53
Глава 5	65
Глава 6	81
Глава 7	97
Глава 8	112
Часть II	
Глава 1	131
Глава 2	158
Глава 3	178
Глава 4	199
Глава 5	216
Вместо заключения	234
Примечания	237

